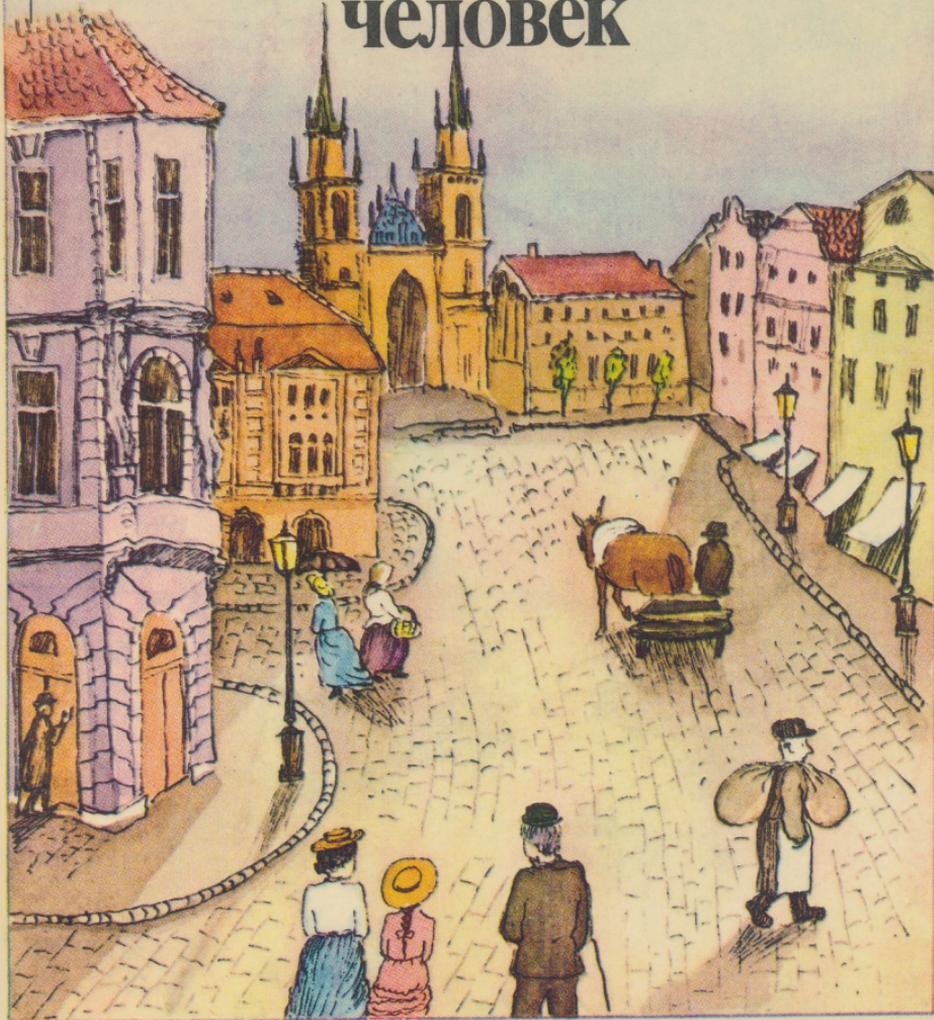


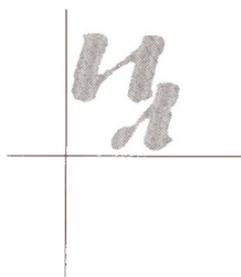
И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ярослав Гашек

Талантливый человек





Jaroslav Hašek

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ярослав Гашек

Талантливый человек

Рассказы

Перевод с чешского

*Составление и предисловие
В. Аркадьевой*

**Москва
«Известия»
1983**

И (Чехосл)
Г24

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Гашек Я.

Г24 Талантливый человек/Пер. с чешск. Сост. и предисл. В. Аркадьевой.— М.: Известия, 1983.—128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В сборнике представлены произведения Я. Гашека, в большинстве своем незнакомые советскому читателю: колоритные бытовые зарисовки, юморески, пародии и, конечно, сатирические рассказы.

Г 4703000000-039 727-83
074(02)-83

ББК 84.4 Че
И(Чехосл)

© Составление, предисловие и переводы на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1983.

От составителя

Когда мы вспоминаем имя Гашека, то прежде всего на ум приходят веселые шутки и добродушное лицо бравого солдата Швейка. Конечно, прославленный, пользующийся мировой известностью роман чешского писателя есть высшее достижение его творческого гения, вобравшее многое из того, чем жил, что выстрадал, чему научился, что увидел за свою короткую жизнь (1883—1923, неполных сорок лет!) удивительный чешский писатель Ярослав Гашек.

Однако за пределами романа остается еще жизнь творца, напряженная работа писателя-сатирика, журналиста, организатора и убежденного пропагандиста великой правды Октябрьской революции, активным проводником которой он был на протяжении нескольких лет.

Писать Гашек начал семнадцати-, восемнадцатилетним юношей. Рано ощутив в себе призвание литератора, он много странствовал, изучая быт и нравы областей, входивших тогда в состав «лоскутной» австро-венгерской монархии.

Результатом пристрастия Гашека к будничным фактам и событиям повседневной жизни явилось «открытие» им новой литературы, возвеличивавшей простого человека.

«Признаюсь, более всего я люблю короткие рассказы Гашека... В них его характер чувствуешь полнее всего... Здесь любовь к маленькому человеку преобладает над ненавистью к властям предержавшим. Здесь надо искать истоки могучего позитивного влияния творчества Гашека, его революционно-го воздействия...»* — писал крупный общественный деятель Чехословакии, историк литературы, академик Зденек Неedly.

В нашем сборнике есть рассказ, который звучит доказательством того, как чутко прислушивался молодой писатель

* Sebrané spisy, sv 1, Praha, 1958.

к трагическим диссонансам новой эпохи, эпохи империализма, как гениально сумел он предопределить один из главных ее конфликтов, до сих пор исследуемый мировой художественной мыслью: крушение патриархальных устоев деревни в поединке с буржуазными нравами большого капиталистического города («Прага есть Прага»).

Глубокое проникновение автора в суть вещей и явлений, в жизнь простого народа, правдивое описание печальной и суровой действительности Австро-Венгрии, в начале XX века стремительно катившейся к распаду, составляет главную ценность небольших проникновенных — то лирических, то юмористических — рассказов Гашека.

В самом деле, нельзя без волнения читать трогательную повесть о чудачковом извозчике, который доверительнее всего беседует со своим верным другом — конем; о внезапно вспыхнувшем глубоком чувстве у возвращающихся вместе домой, недавно еще незнакомых молодых людей («Неспешная езда»); о богатыре-казачке, сбежавшем от бранчливой жены («Казак Борышко»), о трудной жизни нищих и бродяг («В Нейбурге») и т. д. Так из обостренной любви к родной земле, простому люду, доброты, непосредственности и участия, мягкой насмешки — с одной стороны, а с другой — из обнаженной пронизательности искусственного политика и неистребимой надежды на возможность справедливого устройства жизни на земле слагается характер творчества и стиль Гашека — писателя и человека.

Сатира Гашека, образцы которой также представлены в сборнике, выросла из жизненного опыта народных низов, обманутых буржуазными политиками и демагогической пропагандой. Увидев происходящее в Австро-Венгрии глазами простого народа, Гашек всей силой своего таланта не только развенчал социальное устройство прогнившей австро-венгерской монархии, но и утвердил неизбежность ее падения. Не было ни одной сферы жизни монархии, какую бы не затронула сатира Гашека. Предметом его язвительных насмешек становится борьба различных по названию, но одинаково реакционных по существу буржуазных партий («Из дневника наив-

ной девушки»), их экономическая политика, направленная против трудового народа («Дороговизна»), система налогов, тяжким бременем ложившаяся на плечи бесправного люда («Из жизни Карела Брода»).

Безжалостному развенчанию подверг Гашек имперскую бюрократию («Безбилетный пассажир»), мелочное мещанство, способное умертвить любую инициативу, любой талант и способности, подозревавшее всех и вся в желании «унизить» и «оскорбить» «ее величество» посредственность («Таинственное послание»).

Не мирится, бунтует, восстает Гашек против любого проявления равнодушия («Борьба добра со злом»). Возмущает его неизбежная скудость бездушного, скучного, тупого существования, где унесенная ветром шляпа — уже событие («Приключение с цилиндром»), где поведение человека регламентируется последним полицейским установлением («Пан Непреклонный»); где «маленький человек», стремясь вырваться из нищеты и зависимости, легко решается на предательство и подлость («Практикант Жемла»); где старость лишается крыши над головой в доме призрения, а взяточникам предоставляется полная свобода («Ответ Виноградской ратуши...»).

За неполные два десятилетия творческой работы в жанре рассказа мастерство Гашека достигло небывалых высот. Писатель обрел широкий круг читателей. Поэтому уже начиная с 1901 года он много публикуется. Издатели рискуют даже отдавать в его распоряжение целые номера журналов. К 1911 году Гашек — один из самых плодовитых чешских писателей. Годы войны составляют естественный перерыв в его творчестве, но сразу же, как только появляется возможность, Гашек начинает писать снова — и особенно много после 1918 года, в России, в армейской газете «Наш путь» и в Чехословакии, куда он вернулся в 1920 году и где прожил последние отведенные ему судьбой три года жизни.

Чешские гашековеды собрали множество неизвестных ранее произведений Гашека, под различными псевдонимами рассеянных по журналам и малодоступным изданиям. Поэтому в нашем небольшом по объему сбор-

нике в подавляющем большинстве представлены вещи, никогда ранее не переводившиеся в СССР (а если и переводившиеся, то давно).

Состав сборника и переводы сделаны по текстам недавно завершеного девятнадцатитомного чешского собрания сочинений писателя. Главным принципом отбора была художественная ценность произведений и разнообразие жанров и тем, поэтому на страницах этой книги наряду с ранними, чисто реалистическими зарисовками мы найдем гротескные пародии («Вопросы читателям»), юморески («Пепел кенаря Маника») и сатирические рассказы.

Хочется надеяться, что небольшой сборник рассказов, очерков, пародий и сатир явится полезным добавлением к тому, с чем уже знаком советский читатель.

В. Аркадьева

Прага есть Прага

Жатва закончилась. На токах раздавались удары цепов. В деревне пахло свежей соломой. Стайки воробьев, громко чирикавая, перелетали от риги к риге и лакомились рассыпанным зерном.

Приближался вечер.

Солнце опускалось все ниже и ниже, на небосводе уже появился серп луны.

Старый Гобзик, возвращаясь с поля, остановился перед своей ригой и с удовольствием прислушался, как в такт глухим ударам цепов поют молотильщики.

Его Вацлав так любил эти песни. С какой охотой брал он в руки цеп, молотил и пел.

Сейчас Вацлав где-то в Праге, вытягивает из горна куски железа, бьет по ним молотом, делает ключи.

Не мог он навеки остаться в деревне, подумал отец, глядя на ригу, видневшуюся в сумерках; что ему было здесь делать? Ведь тут у него старший брат да еще две сестры, и, если бы все они взяли свою долю, хозяйство развалилось бы.

Вот почему Вацлава послали в Прагу учиться слесарному делу. Он просил, плакал, да чем тут сможешь!

Кем бы он стал в деревне — батраком! А в городе хоть возможностей побольше да и будущее получше.

Отец отогнал от себя воспоминания.

— Хватит на сегодня, пора ужинать...— крикнул он молотильщикам и вместе с ними зашагал к дому.

Ужинал, а сам все думал, Вацлав все не шел у него из головы.

Он стоял у него перед глазами, и старик слышал, как сын

говорит: «Папенька, Христом богом прошу, не делайте этого, пропаду я там».

Отец не мог избавиться от какого-то тягостного чувства.

— Послушай, мать,— обратился он к жене,— не кажется ли тебе, что от Вацлава уж больно давно нет писем.

— Правда твоя, отец, не пишет мальчик, видно, времени нет.

— Знаешь что,— продолжал Гобзик,— урожай у нас, слава богу, убран, можно и навестить парнишку. Мастеру прихвачу гуся и завтра же поеду в Прагу.

— Как знаешь,— ответила жена, и на этом разговор оборвался, лишь немного погодя она тихо добавила:— И что ему от мальчонки понадобилось, целый год до нынешнего дня о нем не вспоминал...

Отец улегся в постель, но долго не мог уснуть, все размышляя о своем любимце, о Вацлаве, а когда задремал, то видел его и во сне, все ему грезилось, как удивится сын, как обрадуется встрече.

Рано утром Гобзик уехал в Прагу.

Адрес мастера он вытвердил наизусть и всю дорогу в поезде повторял его.

После долгого пути, показавшегося ему бесконечным, он доехал до Праги. И после долгих поисков наконец отыскал мастерскую, где его Вацлав был в учении.

Мастер вышел к нему навстречу и поздоровался.

Но поздоровался как-то холодно...

— Хорошо, что пришли,— сказал слесарь пану Гобзику,— а я собирался было отписать, чтобы вы приехали.

— О господи, неужто с Вацлавом что случилось? Не заболел ли?— встревожился отец.

— Да нет, здоров, только плохо вы его воспитали,— пробурчал мастер.— В другой раз осмотрительнее буду выбирать учеников. Такой срам! Идемте в полицейский комиссариат, там расскажут, что случилось.

Пока шли в полицию, у отца от страха подкашивались ноги, он все пытался узнать у мастера что да как, но тот твердил одно:

— Такой срам, расскажут все в полиции.

В комиссариате мастер представил его: «Отец Гобзика».

— Хорошо, что прибыли,— заявил комиссар.— Довожу до вашего сведения, что ваш сын находится в предварительном заключении. По собственному его признанию, всему причиной жизнь большого города. Парень пил, болтался по кабакам, а деньги добывал нечестным путем. Изготовил отмычку, он ведь слесарь, и со своими дружками обчистил квартиру фабриканта Веселого в Карлине*. После предварительного заключения его отправят в тюрьму, авось образумится. Все это — последствия дурного воспитания,— заключил комиссар и махнул рукой, можете, мол, идти.

Когда они вышли на улицу и свежий воздух повеял в лицо Гобзику, он наконец осознал, что еще жив.

Голова у него шла кругом, дома, люди, трамваи — все сливалось в одно, и слезы ручьем хлынули из глаз.

Его Вацлав, его любимец, ограбил чью-то квартиру, чтобы добыть деньги и жить на них, как живут в большом городе. А ведь какой послушный, добрый был мальчик...

— Не стану вас задерживать. И не убивайтесь из-за этакого негодяя... Ведь Прага есть Прага. Прощайте!— проговорил слесарь сурово и быстро ушел.

Гобзик не помнил, как очутился в поезде, не понимал даже, что едет домой.

Сидел в вагоне и все твердил: «Прага есть Прага!»

Только когда кондуктор объявил: «Дашице», он сообразил, что это его остановка.

Он машинально вышел из вагона и побрел домой.

Что им сказать? Что сказать о своем любимце? Всей деревне? Домашним? Что сказать о мальчике, когда-то таком послушном?

Гобзик добрался до деревни.

Шел молча, не отвечая на приветствия людей.

— Что это со старым Гобзиком?— удивлялись односельчане.

* В начале века — пригород Праги. (Здесь и далее примечания составителя.)

Старик остановился перед своей ригой.

Те же удары цепов, то же пение, как и вчера, как и год тому назад, когда он стоял здесь за день до отъезда Вацлава и тот со слезами на глазах просил его: «Папенька, Христом богом прошу, не делайте этого, пропаду я там».

Вдруг старый Гобзик схватился за голову, страшно захохотал и диким хриплым голосом крикнул: «Вацлав, Прага есть Прага!»

Воробьи, клевавшие зерна, рассыпанные на земле, испуганно взвились в воздух.

Сбежавшиеся люди поняли, что старый Гобзик сошел с ума.

«Народни листы»—17.05. 1902

Вещий сон крестьянки Богановой

Иржи Боган одевался, собираясь рано поутру отправиться на базар. Он облачился в голубой кунтуш*, подпоясался черным поясом, натянул высокие желтого цвета сапоги и готовился уже нахлобучить на голову лисью шапку да перекреститься, но тут его молодая жена Зоська, до сих пор тихо сидевшая на сундуке в углу, поднялась и обратилась к нему с такими словами:

— Эй, Иржи, сегодня ты ни на какой рынок не поедешь! Я плохой сон видела. Будто жду я тебя из города. Дело к вечеру. И вдруг на большаке около нашего дома тарахтит телега, а из телеги этой выносят тебя — мертвого, охладелого, без шапки, без кунтуша и без пояса. Ради бога живого и пресвятой богородицы, сиди дома, никуда не езд.

Последние слова белокурой красавицы Зоси потонули в слезах.

— Бабы толки, бабы страхи!— заворчал крестьянин.— Сон, он сон и есть. Сама ведь знаешь, тебе уж раз двадцать привиделось, будто я утоп, десятки раз меня задирали волки,

* Верхняя одежда польского крестьянина.

так что один лишь растерзанный пояс остался. А уж сколько раз я в петлю лез или со скалы падал... и не перечить.

— Но сегодняшний сон прямо как наяву был, вещей,— всхлипывала безутешная Зоська.

— Сон наяву!— рассмеялся Иржи Боган.— А вот мне сегодня опять очень приятное снилось. Снилось мне, будто я холостой...

— Замолчи, мне вовсе не до смеха,— всхлинула молодуха.— Никуда сегодня не езди, телка можно и завтра продать! Завтра ведь тоже базарный день! Прошу тебя, если ты меня все так же любишь, как перед свадьбой, останься дома!

— Зоська, раз я сказал — поеду, значит поеду. Что я, баба, всяких снов бояться,— отрезал муж.— Прощай!— Он перекрестился, и вскоре они с батраком уже катили по пыльному большаку к местечку Крзынца. Сзади трусил привязанный к телеге теленок.

Красавица Боганова вышла на порог и сквозь слезы даже не увидела, как весело ее Иржи машет ей на прощанье шапкой; опечаленная, она не слышала, как громко и весело на весь лес распевает он старинную польскую военную песню:

*Гей — там, на конях,
взмахнем ланьцухами*,
Панна святая да пребудет с нами!*

Все поплыло у нее перед глазами. Зеленые деревья в саду, забор, белый от пыли большак — все мелькало и кружилось в какой-то странной сумятице.

Она чуть не упала в траву. Ухватилась за ствол груши.

Значит — всему конец! Муж не воротится, а если и воротится — то неживой. Недолго длилось ее счастье. Лишь два месяца прошло с тех пор, как они отпраздновали ślubu usługi— свадьбу то есть.

Образ мужа, лежащего мертвым на телеге, все не шел у нее из головы.

— Господи боже, недолгое послал ты нам счастье!

* Цепями (польск.).

Молодая хозяйка едва добралась до дому. Как все пусто и грустно кругом. Не слышать ей больше голоса своего драгоценного Иржи.

— Послушай,— обратилась она к служанке, убиравшей горницу,— как по-твоему, вещие сны всегда сбываются?

— Еще бы не сбываются, хозяйюшка! Вот давеча приснилось мне, будто иду это я лесом, а вокруг тьма — глаз выколи, и волки воют. Я — на просеку, а там — заросли густющие. Куда ни повернусь, юбка за колючки цепляется и рвется. И что же? Дня через два пошла это я рощей, и точно: всю себе юбку — совсем еще новую — в клочки порвала. А еще — тому года два назад — снилось мне, будто мимо деревни медведи идут. Этак под утро. Медведей десять, а то и больше. Идут вроде как стадо, а впереди — самый большой, вся пасть в пене и в зубах маленькую белую овечку несет. И вот неделю спустя в Гучи — это в двух часах ходьбы отсюда — и впрямь медведи овечку задрали, точь-в-точь ту маленькую и беленькую,— в задумчивости закончила повествование служанка.

Молоденькая ее хозяйка так и обмерла, опустившись на сундук.

— Знаешь, Марина,— немного погодя проговорила она сдавленным голосом.— Я сегодня тоже вещий сон видела. Снилось мне, будто хозяина нашего мертвого привезли.

— Святые угодники!— запричитала Марина.— Выходит, конец ему. А такой славный, никому худого слова не скажет, мне посулил с базара платок на голову привезти, так и Миреку с утра наказал: слушай, говорит, поедешь со мной и напомним, что Марине нужен платок головной, а Белке — кусок соли, чтобы лизала. Нет, видно, не бывать этому.

Выскочила Марина из горницы, и вскоре всякий в Мувалах доподлинно знал, что, несмотря на упреждение супруги, которой привиделся вещий сон, молодой Боган отправился продавать теленка.

К этому известию суеверные односельчане прибавили кое-что и от себя. Будто вчера, как солнцу зайти, уселась на кресте кладбища ворона и все каркала да каркала, оборотясь в сторону Боганова двора. Каркнула семь раз, стало быть —

одному человеку накаркала смерть. Выходит, Иржи Боган уже покойник, а коли еще жив, то к вечеру уж беспрерывно помрет. Очень разочаровало всех сообщение деревенского ночного сторожа, воротившегося из города, будто видел он в лесу Иржи Богана здорового и невредимого, и никакая, мол, ворона вчера не каркала, то, верно, не ворона была, а ворон.

— Ворон там или ворона,— оборвал его старый Падала,— не все ли равно, а Боганов кунтуш я понесу*.

Томша Гринтикова, бабка, умевшая лечить домашних животных, пораненных хищниками, пополудни пошла утешить несчастную Зосю. И нашла ее на коленях перед образами.

— Молись, молись,— захрипела она скрипучим голосом,— хорошенько молись, да только помни, не я ли тебя упреждала: «Не ходи ты за этого Иржи Богана, не по нраву он мне!» Отчего ты Регуне отказала? У него ведь тоже усадьба, стада большие. Теперь небось и сама уразумела, на закатном солнышке не согрешься. Иржи хоть и славный был парень, да только Регуна лучше. Вот ты уж и вдовая. Вышла бы за Регуну, все бы иначе обернулось. Он послушный. Только скажи ему — сходи, мол, туда-то или туда-то, он тут же и пойдет да еще справится — побыстрее идти или помедленнее.

Оно, конечно, Иржика тоже жаль. Такой молодой да пригожий. Все бабоньки на него заглядывались — и замужние, и незамужние, слышишь, Зоська, а теперь вот Мирко привезет бедняжку домой покойником. Ох лихо, ежели кому вещей приснится сон. Я сама однажды такой сон видела. Лошадь Мазана волки покусали, и мне ее лечить пришлось. Вот однажды снится мне, будто иду я к Мазану в конюшню, а конь возьми и взбрыкни да копытом-то меня — по голове. Падаю я и думаю — смерть моя пришла. А на другой день мне словно кто шепчет: «Не подходи к коню», я-то знамением этим пренебрегла и отправилась. А конь и впрямь как лягнет, так чуть не до смерти зашиб. Никак святые заступники

* На юго-востоке Галиции существует обычай: за гробом несут одежды усопшего. (Примечание Я. Гашека.)

помогли увернуться, а не то... Еще маленько — и отдала бы Томша Гринтикова богу душу. Видишь, какие они бывают, дурные-то вещи сны? Сколько приданого принесла ты этому несчастному? Такой молоденький — и уже заснул вечным сном...

Бабка пустила слезу, а молодуха разрыдалась пуще прежнего.

— Ну да ты не отчаивайся, господь пошлет тебе утешенье, вот ведь и я сколько твердила — не ходи за Богана, больно нрав у него упорный да своевольный.

На том Гринтикова и распростилась с Богановой, а вскоре и вся деревня пришла к согласию, что Зоська сделала неудачный выбор, а выйди она замуж за Регуну, было бы не в пример лучше.

Смеркалось. С пастбищ возвращались стада; по всей деревне слышалось гиканье погонщиков, пастухов, свист кнутов да гогот гусей.

Деревня оживилась, и это оживление привело Боганову в полное отчаяние. Соседи в домах напротив, рассевшись на лавочках, ужинали, о чем-то судачили. И как было славно прежде, когда Иржи тоже возвращался с поля, подсаживался к ней, шутки шутил, а она смеялась... а теперь вот конец всему...

Давно зашло солнце, в деревне смолкли песни, ночной сторож протрубил десять часов, а Зоська все еще сидела на лавке, лила горячие слезы и смотрела в непроглядную тьму.

Иржик все не возвращался...

Наконец издали донеслось тарыхтенье повозки, во всей деревне залились лаем псы.

Молодую Боганову словно что кольнуло в сердце.

Не видя даже света фонаря, она будто в обморочном сне расслышала приглушенный голос батрака: «Не пугайтесь, хозяйка, пойдёте, поможете хозяина из повозки вынести».

— Господи боже, мать пресвятая богородица, Иржи мой, Иржи,— завопила Боганова, в мгновение ока вскочила в повозку и уже обнимала недвижимое тело мужа.

Однако тут же почувствовала, как недвижимое тело шевельнулось, и послышался солидный громкий зевок.

— Жив, жив!— радостно воскликнула молодая хозяйка.— Ну, вымолви хоть словечко. Это я, твоя Зося!

Некоторое время царило молчание. А потом раздался голос хозяина:

— А все водка проклятая!

И хозяйка, склонившись над мужем, явственно учуяла неподдельный запах крепкой водки.

Страх за мужа как рукой сняло. Она отошла от повозки.

— А где выручка за телка?— строго обратилась Боганова к батраку Мирко, что держал в руках фонарь, бросавший вокруг смутный неверный свет.

— Это все водка,— чуть слышно произнес Мирко,— очень выпить хотелось, встретились знакомые, и вот...

На следующее утро в Мувалах все знали, что не всякий вещий сон сбывается и что Иржи Боган с батраком пропили в Бохуни телка и несколько не в себе воротились домой в собственной таратайке. У таратайки обнаружили лишь три колеса.

Была и еще одна новость: молодая Боганиха, что вчера тяжко убивалась по своему мужу, утром так на него взъелась, что бедняга удрал на чердак.

Эта новость подтвердилась к вечеру, когда молодой супруг, встретив старосту, на вопрос, как ему живется, задумчиво ответил:

— Эх-ма, телок тут ни при чем. Все этот вещий сон!

«Народни листы»— 10.08.1902

Казак Борышко

Казак Борышко, осенив себя крестным знаменем под иконами, что висели в углу избы, склонил голову перед попом Андраевым:

— Отче Андраев, хочу жениться.

Отец Андраев, худой высокий человек, вздохнув, поднял указательный палец и проговорил:

— Кого же ты хочешь взять в жены? Девочек полно, да ни

одна тебе не пара. Сам посуди! Возьмешь Александровну — через день-два повесишься. Ее норова никому не выдержать. Жениться на Марье — так лучше сразу головой в омут. Лучше всех дочь Мариова. Тихая, слова лишнего не вытянешь. И собой приятная, и трудолюбивая.

— Вот-вот, Мариова, на ней-то я и хотел бы жениться.

— А ты у отца-то просил уже ее руки?

— Да нет, видишь ли, отче, у нее отец хамоват. Хвать тебя за грудки и швырь за дверь, так что летишь, даже крестного знамения сотворить не успевши. Такой грубиян, такой невежа! И собаку-то на тебя натравит и с цепи ее спустит. Вот я к вам пришел, отче, чтоб вместе, значит, к Мариову пойти. На тебя он руки не подымет, да и на меня тоже, коли ты рядом будешь!

Отец Андраев возвел очи к невысокому потолку, потом устремил взгляд в пол, снова поднял его на казака Борышко и важно вымолвил:

— Ну ладно, пойдём с помощью божьей!

Иван Иванович Мариов только-только привез из степи воз сена и теперь сидел на пороге своего рубленого дома, попивая кислое молоко.

Увидев попа, шагавшего вместе с казаком, он сильно перепугался и чуть было не выпустил из рук кувшин с молоком.

— Ох уж эта моя грубость,— прошептал он,— проклянет меня теперь поп. Борышко ему небось пожаловался. Ах ты господи боже мой!

Над степью опускалось солнце, и в конюшне ржали жеребят, весело топоча копытцами.

— Добрый вечер,— поздоровался поп.

— Дай-то господи,— ответил перепуганный Мариов, учтиво снимая с головы засаленную шапку.— Глянь на меня,— безо всякого вступления, продолжая комкать шапку в руке, проговорил хозяин,— глянь, отче Андраев, какой я есть несчастный человек. Третьего дня приходит это ко мне казак Борышко. Все спят, один я сижу перед домом да звезды считаю: одна, две, три... до ста досчитал и сызнова начал: одна, две, три... А тут вдруг — Борышко. «Пойдем,—

говорит, — в горницу, посоветоваться надобно». Пошли. А Борышко даже не присел, с ходу и брякнул: «Сорок десятин земли у меня, и десять еще получу. Слышишь?» — «А что ты мне-то про это талдычишь?» — отвечаю. «Сорок десятин земли, понимаешь, сорок», — снова завопил он, отче Андраев. «Не вопи, — упреждаю, — кругом люди спят, а он все гнет свое — сорок да сорок. «Коли хватил лишку, так ступай, брат, prospись», — говорю я ему по-хорошему, а он — ни в какую, знай орет свое про десятины; ну, сгреб я его, и вылетел он у меня из дому. Ох, грубый я человек, отче Андраев, грубый да темный. Прости и отпусти мне грехи мои, господи. Да ведь он даже не сказал, с чем пришел.

— Вот по сему поводу мы и пожаловали, Иван Иванович, — проговорил поп, опускаясь на порог вместе с казаком Борышко. — Хотим объяснить причину его визита. Дело в том, что Борышко задумал жениться и хочет в жены твою дочь взять. Если ты не против — пусть выходит за него, пусть продолжает казачий род.

— Это для тебя большая честь, Иван Иванович, выдать свою дочь за такого казака, как я. Я и атаманом могу стать, слышь ты, атаманом, и будет твоя дочь над казаками атаманшей. Под моим началом и теперь уже десять лбов. А до чего приятна царская служба! Сколько полков под твоей командой, и у каждого полка — кони своей масти. У одного — вороные, у другого — белые, а у третьего — одни гнедые. Красота да и только. Особливо — на марше. Впереди — наши песельники казацкие поют да играют, а уж за ними пешее войско тянется. А я впереди своих — десятником. Люд православный, разинув рот, глазеет и пальцем показывает: «Глянь-ка, казак Борышко!» Да и живется нам, казакам, славно. По десяти десятин земли надел у каждого, а по старости — пятнадцать копеек на день полагается. Это наш батюшка Суворов порешил и в закон записал. Вот уж был генерал — голова! У нас в казармах десять его заповедей висят на дверях: «Неприятеля — бей, но к побежденным, коли потребно, будь милосерд». Вот был генерал так генерал. Он всегда говорил: «Казаки — всем войскам войско». А казаки

ему на это: «А вы, ваше превосходительство, всем генералам генерал». Нет, нашу службу царскую я бы ни на что не променял. Желая на твоей дочери жениться, только сперва ответь мне, Иван Иванович, не шумлива ли твоя дочь, тиха ли, даже если осерчает?

— Сударь ты мой, казак Борышко,— со всей учтивостью ответил Иван Мариов.— Дочь моя тиха, как рыба в реке, разрази меня господь, коли вру. И отдам я ее за тебя с радостью, вот тебе моя рука. Мариова,— позвал он дочь,— подь-ка к нам в горницу, привечай жениха!

Молодая Мариова, простоволосая, босая, остановилась в дверях, молча протянула Борышко руку и опять неслышно спряталась в свою светлицу.

— Вот это мне по душе,— одобрил поп Андраев, не обронивший лишнего слова,— золото, а не жена у тебя, Борышко, тихая да послушная.

— Ну, а теперь заглянем к немцу Йозефу, гром его разрази, да и обмоем дельце,— произнес Иван Иванович.

Они поднялись и двинулись по улице к заведению, на дверях которого было начертано: «Хорошия водки».

Вскоре сыграли свадьбу, веселую и шумную.

Неделю спустя пограничный патруль задержал подозрительного человека, пытавшегося перейти границу без заграничного паспорта. На допросе он признался, что имя его казак Борышко и что он бежал с царской службы.

Представши перед военным судом в Одессе, казак Борышко защищался следующим образом: «Взял я это за себя Мариову, после того как ее отец, прости ему, господи, сей грех, заверил меня, что Мариова молчалива, как рыба в реке, даже коли осерчает. Отчего ж такую за себя не взять? Вот и сыграли свадьбу. А уже на другой день после свадьбы выговаривает мне Мариова, что я, дескать, много пил и что ей это не по нраву — муж-забудыга. Прошу прощенья, это ее слова. Я так и обмер, будто рядом из пушки громыхнули. А она все не унимается, орет без всякой причины. И разбойник-то я, и бродяга, и подлец, и мерзавец, и свинья, прошу прощенья.

Ну, тут уж я не стерпел. Тут уж я ей показал! А она мне чуть палец не откусила. Выбежал я из избы да — в степь. А в степи повстречался мне убогий побирушка Попов. «Чего такой невеселый?» — спрашивает. Я ему все как есть и рассказал. «Знаешь, — говорит мне Попов, — славно ты меня на свадьбе попотчевал, не как нищего, а вроде как друга своего. Вот и я тебе тоже добром отплачу: провели они тебя, казак Борышко. У Ивана-то Ивановича — двойня. Одна дочь — крикунья, злюка, а другая — тихая, смиренная. Крикливую никто не желал в жены брат. Прознал Мариов, что ты — чужак и про то не знаешь, вот и всучил тебе злюку в жены, лишь бы с рук сбыть, потому как смирную-то выдать замуж легко, а злюку — поди попробуй...»

Пошел тогда я опять к Мариову и говорю: «Иван Иванович, надул ты меня». «Привыкнешь, голубчик», — отвечает как ни в чем не бывало. Вот так оно и случилось, что я из-за жены и со службы сбежал, намеревался за границами поселиться.

Господа судьи хохотали до слез, а ведь военный суд редко смеется.

Из-под ареста казак Борышко был освобожден, в судебном определении стояло: «...поскольку суд пребывает в убеждении, что действия свои казак Борышко совершал в состоянии умопомрачения...»

Узнав об этом решении, генерал Петрович заметил:

— Держу пари, все члены суда были женаты...

«Народни листы» — 3.01.1904

Неспешная езда (Подгатурнская зарисовка)

Никогда он не стриг ушами, никогда не рыл нетерпеливым копытом землю, редко когда ржал, но зато повозку тянул не зная устал.

Такого норова был коняга у Михала Байюки из Нового Тарга.

Хозяин его никогда не улыбался, не терпел долгих речей,

не упивался до потери сознания (хотя люди говорили, что выпить он горазд), зато работать умел, и работал с охотой.

Таков был Михал Байюка, возчик.

Коняга и Михал составляли как бы одно неразрывное целое. Укладываясь спать (возчик спал тут же, в конюшне, рядом с конем, лежавшим на соломенной подстилке), Михал Байюка затевал разговор. Для этого нужно было случиться особому событию, такому, что Михал Байюка почел необходимым сообщить о нем своему Чарному.

— Гей, Чарный, — привольно раскинувшись на войлоке у дверей конюшни, обратился как-то однажды в субботу Байюка к своему коньку, — ты не приметил, кого это мы с тобой везли сегодня в Закопане? Об эту же пору тот же пан и та же пани ровно пятнадцать лет назад велели себя отвезти из Тарга. И знаешь, сколько они мне сегодня заплатили? Пятнадцать рейнских.

Байюка помолчал — столь длинная речь его утомила.

— А потом они со мною разговаривали, — продолжил Михал немного погодя. — Ох, Чарный, какие славные речи они со мною говорили... Господин сказал мне... — Тут Михал опять замолчал. — Ох, Чарный, чудная была речь, — снова начал он, пораздумав немного. — Странные говорились слова. Господин этот сказал: «Вы — основатель нашего счастья». Чудно, правда, Чарный?

Михал Байюка, утомившись долгой речью, повернулся лицом к теплой, прогретой стене конюшни и уснул.

Михал Байюка не мог пожаловаться на свою память.

Пятнадцать лет тому назад остановился подле его возка восемнадцатилетний гимназист Звадовский из Львова — договориться, за сколько он согласился бы отвезти его в Закопане. Денег у гимназиста было кот наплакал, поскольку в Новом Тарге он накупил много разных разностей вроде трости с набалдашником в виде топорика и тому подобных пустяков.

На площади никого не было, кроме кучки бедно одетых горалов*, перед которыми Звадовский не стыдился торговаться.

* Одна из народностей Прикарпатья.

Но тут произошло нечто весьма для него неприятное.

Пересекая площадь, к возку приближалась молодая особа. Это была барышня Кася Дембичова, которая вместе с дядюшкой отдыхала в Закопане в той же гостинице, что и Звадовский, остановившийся там со своим отцом.

Подойдя к гимназисту, она проговорила:

— Как мило, что мы с вами соседи, давайте поедем вместе. Представляете — у меня потерялся дядюшка.

— Весьма прискорбно,— ответил машинально гимназист, побелев от ужаса, ибо теперь он уже и вовсе не понимал, как вести торг дальше. Ситуация сложилась крайне неловкая.

— В Новый Тарг дядюшка поехал со мною вместе — он страстный коллекционер, собирает народные вышивки,— а потом оставил меня в Пентке, в ресторанчике; и все не идет да не идет, вот я и отправилась на площадь одна. Не ночевать же в Пентке на соломе. Теперь я его по крайней мере проучу.

— Этого, барышня, вам не следовало делать,— серьезно возразил Звадовский,— дядюшка будет напуган и опечален.

— Какое там!— рассмеялась барышня.— Он обо мне часто забывает, один раз я уже ночевала на соломе. Вот мне и хочется наказать его. Теперь я вернулась в Новый Тарг, а отсюда всегда кто-нибудь из знакомых едет в Закопане. Вот и вы тоже... Доеду с вами.

Кася рассмеялась.

— Денег у меня с собой нет, все у дядюшки, так что вам придется дать мне в долг.

Гимназист судорожно стиснул в кармане гимназических брюк два последних злотых. Руки у него дрожали, поскольку Кася уже весело расположилась в повозке.

— Я уже сказал, что больше двух злотых дать не могу,— обратился Звадовский к Михалу.

— А я тогда не поеду,— невозмутимо отозвался Михал.

— Накиньте еще злотый,— шепнула Кася гимназисту на ухо.

— Обожаю торговаться,— ответил ей Звадовский, делая попытку улыбнуться.

— Больше двух злотых не дам, и конец,— сказал он Михалу.— Отвезете нас и за два злотых, нечего скарденничать.

— За два злотых не повезу,— невозмутимо, как и прежде, ответил Михал.— Два злотых — это все равно что ничего.

— Как интересно!— шепнула Кася.

— Это вовсе не мало,— возразил Звадовский,— а иначе никто из нас не поедет...— Он спохватился, вспомнив, что барышня уже сидит в повозке.— Я пойду к другому. За два злотых нас любой отвезет.

— Никто вас не отвезет, никто на целом свете.

Он умолк.

— Ладно, отвезу, так уж и быть,— немного погодя проговорил Байюка,— но поеду совсем медленно, не спеша, так что в Закопане мы попадем только поздно ночью.

Он помолчал, что-то припоминая, а потом добавил, словно хотел уточнить путь, каким они поедут:

— Будет уже совсем темно. Поедем вдоль Дунайца — и как пить дать свалимся. Там уж много людей потонуло. Теченье-то быстрое.

— Значит, едем за два злотых — так-то вот,— радостно воскликнул Звадовский, усаживаясь в повозке напротив Каси.

— Но-о, трогай помаленьку,— приказал возница коньку, и они поехали.

— Ой, как интересно!— рассмеялась Кася, и гимназист Звадовский рассмеялся тоже.— Мне очень понравилось,— заметила Кася,— как вы держались, когда вели переговоры с возчиком.

— Это мой принцип — никогда ни в чем не уступать,— гордо произнес Звадовский.

Сверх ожидания Михал Байюка выполнил свою угрозу более чем основательно.

К мосту через ручей, до которого из Нового Тарга от силы минут тридцать, они добирались часа полтора, а до Дунайца, что в пятнадцати минутах от моста, они ехали еще час.

Повозка часто останавливалась на большаке, стояли по четверть часа, и Михал испытующе поглядывал на своих путешественников.

Перед Парницей их застигла уже полная тьма; повеяло ночной прохладой.

И так вышло, что хотя барышня Кася была не робкого десятка, она велела хорошенькому гимназисту подсесть поближе.

А Михал Байюка ехал все медленнее и медленнее.

Прижавшись друг к дружке, молодые люди расхваливали чудесную дорогу, а когда после семи часов езды попали в Паранину, то признались, что любят друг друга; стоило повозке остановиться — они поцеловались.

Целоваться они могли в свое удовольствие, поскольку Михал Байюка и впрямь ехал очень медленно.

Пани Кася Звадовская, урожденная Дембичова, любит вспоминать неторопливую езду Михала Байюки, который, разговаривая со своим коньком, однажды в субботу удивлялся, как это возможно, что господин, которого он пятнадцать лет назад вез в Закопане, признался ему, что он, Михал, — «основатель его счастья».

«Народни листы» — 20.08.1904

Ссора

Мирная, поначалу спокойная и рассудительная беседа становилась все громче и наконец перешла в ссору, отголоски которой долетали даже сюда, на полонину*, отчего пес по кличке Мико, охранявший овечью кошару, залился отчаянным лаем.

Сидевшие на валунах друг напротив друга пастухи Юрко и Яно даже и не заметили, что разведенный ими костер потух, а табак в запекачках**, которые они положили на горячий пепел, давно обратился в черный уголь.

Овцы в беспокойстве толклись вокруг, а из расселин, со скал сюда примчалось несколько коз — под их копытами с шуршанием посыпались камни.

* Ровная вершина горы (чаще всего в Карпатах).

** Особый вид трубки, которую пастухи кладут в уголья.

Сгрудившись, животные тупо уставились на галдящих пастухов. А один громадный козел, набравшись мужества и выставив рога, приблизился к огнищу, как будто тоже собирался вмешаться в ссору.

Сурки, перед тем посвистывавшие у норок, тоже замолкли, притаившись меж камней.

Все вокруг, что на протяжении пяти лет видело Юрко и Яно мирно беседующими и дружелюбно настроенными, было охвачено беспокойством.

Ссора являла резкий контраст спокойствию местности: горный мох покрывал замшелые камни, а тишину и покой не нарушало ничто, кроме журчания воды, бившей из родника, да приглушенного шума камня, который, оторвавшись от скалы, катился в долину, где его задерживали раскидистые ветви приземистой горной сосны.

Само собой, проносились в горах и бури, но они ничего не меняли, поскольку были привычны.

Но ссора — это было ни на что не похоже. В течение пяти лет вся округа наблюдала, как покойно пастухи Юрко и Яно пригоняли по утрам в горы стадо, мирно выкуривали свои трубки, а вечером, когда туман, словно тончайшая вуаль, окутывал верхушки хвойных лесов, так же покойно спускались вместе с козами и овцами вниз, на полонину, что поднималась над лесами, предоставляя место загонам и деревянной пастушьей хижине.

Бача* Порай, привлеченный лаем пса, кружившего на длинной привязи у ограды загона, вышел из хижины, где варил в котле жинчицу**, и подошел к оgrade... Яно и Юрко, стоявшие наверху, представлялись ему маленькими точками, но здесь совершенно отчетливо было слышно каждое слово, произнесенное ими.

— Смотри, худо будет!— кричал Юрко.

— Сам смотри...— отзывался Яно.

— А ну валяй попробуй!— грозил Юрко.

* Старший пастух (словац.; венгр.).

** Кислое молоко.

— Схлопочешь по шее!— орал Яно.

— Штефка — моя!— гудел Юрко.

— Нет, моя!— твердил Яно.— Я тебе за нее голову оторву!

Заслонив ладонью глаза, бача Порай озадаченно разглядывал еле видимые фигуры спорщиков. Убедившись, что они все еще стоят на прежних местах, он окликнул пса и чинным шагом воротился в хижину, к котлу с жинчицей.

Помешивая молоко, он качал головой и бурчал себе под нос: «Бывало ли такое в наши молодые годы? Нет, не бывало. И ради чего? Из-за чего? Из-за девки!»

Бача застыл в раздумье над пенящейся жинчицей. Мысленно перенесся в прошлое и снова пробормотал: «Неужели бывало такое в наше время?»

Между тем вспыхнувшая на горе ссора не прекращалась, и бача Порай умно поступил, воротившись в хижину варить жинчицу. Не то пришлось бы ему услышать такое, что печалило бы его еще больше.

— Я тебе задам!— вопил Юрко.

— Это я тебе задам...— гудел в ответ Яно.

«Все еще ругаются,— бормотал бача, слыша, как заливается пес,— готовы друг дружке вцепиться в горло из-за Штефки Долинской».

Он прищурил левый глаз, как всегда, когда размышлял о чем-либо серьезном. «Эх, Штефка, Штефка,— рассуждал он про себя.— Что она с матерью приходит в горы и приносит нам хлеб — это славно, это хорошо. А вот то, что один раз ее провожает Яно, а другой — Юрко и ведут они ее вниз, к лесу, до самой лавки,— это непорядок. Тут либо один, либо другой. Или все время один, или другой, лишь бы постоянно, иначе толку не будет. Иль же — никто».

Бача, следя за паром, поднимавшимся над варившейся жинчицей, вздохнул: «Как же переменился свет, господи боже мой!»

А тем временем спорщики наверху уже охрипли от брани и смолкли.

И тогда только заметили, что костер едва курится. Вынув трубки из пепла, обнаружили, что табак обратился в уголь.

Кинув на умирающий огонь по охапке хворосту, оба молча выбили табак из трубок.

Юрко, не говоря ни слова, вынул из-за пояса кисет с табаком и принялся заново набивать трубку.

Яно, у которого запас табака иссяк дня три назад, следил за ним завистливым взглядом.

Свернув кисет, Юрко не спеша засунул его за пояс. Потом положил трубку на раскаленный пепел и стал ждать. Когда из чубука закурился дымок, он вынул трубку, отогнал рукой дым и, выпрямив ноги, глубоко затянулся.

Он пускал кольца дыма, которые кружили в воздухе и облачками уносились вверх, в ясное синее небо.

Ссора иссякла. Овцы и козы, отойдя от костра, разбрелись в разные стороны и снова мирно щипали траву.

«Фьють, фьють» — засвистели на скалах сурки.

Яно с завистью поглядывал на Юрко, который с наслаждением пускал колечки голубого дыма.

На него вдруг напала тоска. До сих пор Юрко всегда делился с ним табаком, а вот сегодня впервые он, Яно, сидит с ним рядом и — ни одной затяжки.

Даже ветер и тот словно бы взял сторону Юрко; он летел в направлении к Яно, распаляя желание покурить.

Так прошло около получаса. Выбив пепел, оставшийся от выкуренного табака, Юрко опять положил трубку в костер.

Раскинув ноги и насмешливо взглядывая на погрустневшего Яно, он снова и снова пускал дым.

— Юрко, — несмело проговорил Яно, — ты все еще сердись-ся?

Юрко даже не счел нужным отвечать, поскольку только что выпустил изо рта новый мощный клуб дыма.

— Юрко, — снова повторил Яно, уже не в силах бороться с искушением. — Юрашек, да ведь я тебя этой Штефкой только подразнить хотел. Ей-богу, никакой другой мысли у меня и на уме не было. Если хочешь знать — я тебе не помеха. И вниз со Штефкой, клянусь, никогда больше не пойду. Юрашек, будь другом, отсыпь маленько табаку.

— Ладно, бери, — разрешил Юрко, протягивая Яно кисет

с табаком.— Значит, Штефка — моя. А сразу ты об этом не мог сказать?

И в долине меж гор опять воцарились полный мир и покой, изредка нарушаемые лишь потрескиванием огня и журчанием ручейка.

Солнце закатилось за вершину Дереш; Юрко с Яном спустились вниз, к кошаре, и тут бача сообщил им новость — так, мол, и так, хлопцы, Штефка выходит замуж за Калинчака из Валаски и вместо нее хлеб нам сюда будет носить ее матушка. Ежели бы вы не ссорились и пришли пораньше, то смогли бы Штефкину матушку вниз проводить.

«Народни листы»—3.12.1905

Пепел кенаря Маника

Было время, когда раз в неделю я получал маленькую розовую записочку, которая содержала, во-первых, массу орфографических ошибок, а во-вторых, приглашение: приходите, дескать, к нам обязательно в субботу к пяти часам на чашку чая.

Письма эти писала пятидесятилетняя барышня Пешлова, которая видела во мне прежде всего образец порядочного молодого человека, а потом уже близкого родственника, хотя я до сих пор безрезультатно ломаю себе голову над определением степени этого родства.

По понятиям барышни Пешловой, я прихожусь ей племянником, о чем свидетельствует и обращение, с которого начиналось каждое письмо: «Милый племянник». Исследуя нашу родословную более подробно, я обнаружил, что какой-то мой дядя, седьмая вода на киселе, в начале минувшего столетия женился на двоюродной сестре дедушки тетки барышни Пешловой.

Благодаря этим достоинствам каждую субботу в пять часов я появлялся у барышни Пешловой.

Эта была добрая старая дева, которая раз тридцать рассказывала мне историю своего рода, последним прямым потомком которого она является, отчего на ее плечи и легло

бремя быть хозяйкой двух красивых домов в Праге. Так же часто она рассказывала мне историю своей любви, что закончилась смертью ее жениха и, следовательно, тем, что тетушка не вышла замуж.

Кроме того, тетя часто рассказывала о судьбах своих желтых канареек, чем всегда доставляла мне большое удовольствие, так как, заканчивая повествование, вела меня в гостиную, где в старинном буфете стояла фарфоровая чашка, напоминавшая пепельницу, и в этой чашке под слоем пыли лежал пепел праотца сладкоголосых канареек.

Итак, пепел кенаря Маника, пятнадцать лет назад оставившего мир сей, а именно большую клетку из позеленевшей бронзы, покоился теперь в фарфоровой чашке; клетка кенаря после его кончины была перекрашена в черный цвет, а тельце птички сожгли в жестяной коробочке, изукрашенной камнями.

Белая фарфоровая чашка, где покоился пепел кенаря Маника, значила для барышни Пешловой не меньше, чем для древних римлян места погребения предков.

— Пепел кенаря Маника,— всякий раз вздыхала она, забирая стеклянные створки буфета.

От этих разговоров мне порой становилось не по себе. В гостиной, где пахло резедой, старая дева усаживалась напротив меня в старое кресло и начинала плакать.

На вечернем чае присутствовало пять человек. Барышня Пешлова, одна ее приятельница — вдова какого-то советника, две ее дочери и я.

Мы пили чай и курили. Собственно, курили только старая барышня да я. Привычка к курению восходит у барышни Пешловой ко временам ее знакомства с женихом, о чем она также рассказывала целую историю, обыкновенно кончавшуюся слезами.

Как-то раз, когда они с покойным были на прогулке в Хухлях*, он впервые предложил ей сигарету.

Сначала эта история меня даже немного трогала, но прослушав ее раз тридцать, я всегда старался перевести разговор на

* В начале века — предместье Праги, место загородных прогулок.

другую тему.

После чая барышня подавала ликер. Не знаю, может, и эта привычка уходила своими корнями в эпоху ее несчастной любви...

Итак, каждую субботу мы устраивались в уютном салоне подле буфета с пеплом кенаря Маника.

Разговаривали о минувших годах, о разных событиях тех далеких времен, когда барышня Пешлова еще сидела с пани советницей на школьной скамье, о случаях из жизни их родственников.

Иногда целый вечер разговор вращался вокруг будущего дочерей пани советницы, между которыми сидел я, обращаясь то к одной, то к другой с разными остротами, которые не имели ни малейшего успеха.

Старшая, что сидела от меня справа, звалась Бертой, младшая, сидевшая слева, — Ольгой.

Девушек нельзя было назвать разговорчивыми. Они либо кивали головой в знак согласия, либо качали головой — в знак отрицания. Пани советница говорила, будто они очень хорошо воспитаны.

— Скажите, милый племянник, — спросила как-то раз барышня Пешлова, когда я по обыкновению явился в субботу и, сидя в гостиной, ждал, пока соберется общество, — которая из девушек вам нравится больше?

— Думаю, Берта, — отвечал я.

Старая дева огорченно покачала головой.

— У Берты, милый племянник, — произнесла она со вздохом, — уже есть жених.

— Ну и что? — спокойно ответил я. — Ничего такого я и не имел в виду.

— Оля куда красивее, — продолжала барышня Пешлова, — красивее и добрее, милый племянник, и потом... — старая барышня помолчала, — и потом, у нее еще нет жениха.

Она испытующе поглядела на меня и проговорила:

— Вам хорошо известно, милый племянник, кроме вас, у меня нет близких родственников. Пани советница — моя приятельница и была бы рада видеть вас счастливым. Оля очень

хорошая девушка. А вы мой единственный близкий родственник,— добавила она многозначительно.

В ту ночь старая дева представилась мне в образе старой хромой Вонашковой, которая заводила молодых людей в супружескую гавань.

На следующей неделе наше общество пополнилось новым членом. Это был жених барышни Берты, робкий служащий магистрата, еще очень молодой, он был прекрасной парой Берте, ибо тоже не отличался многословием.

Я ожидал, что старая дева познакомит нового члена нашего общества со всеми своими воспоминаниями об ушедших годах.

Так оно и случилось. Когда барышня Пешлова прослезилась, вспомнив своего жениха и первую предложенную им сигарету, которую она выкурила в хухельском лесочке, то перешла к дорогой памяти, к останкам кенаря Маника. Подойдя к буфету, она достала оттуда белую фарфоровую чашку, где покоился пепел кенаря, и поставила ее на стол.

Я курил, обнаруживая откровенное равнодушие ко всему, что меня окружало. Я мысленно сравнивал Олю с Бертой.

— Осторожно,— шепнула мне пани советница,— как бы пепел не упал вам на платье.

Я поднял руку и стряхнул пепел на край белой фарфоровой чашки, стоявшей передо мной.

В тот миг, когда теплый еще пепел смешался с пеплом в чашке, гостиня огласилась пронзительным криком, и я увидел, как старая барышня падает со стула в обморок.

Что я наделал! Я смешал пепел моей сигареты с прахом кенаря Маника, дорогой памятью барышни Пешловой.

Затем я услышал, как четыре женских голоса на разные лады закричали мне: «Вон, вон!»

Приятель, который мне это рассказывал, смолк. Мы как раз дошли до угольного рынка.

— Вон те дома,— сказал он, показывая на два видневшихся неподалеку дома,— были бы теперь моими, если бы не чашка с пеплом кенаря Маника.

«Народни листы»—8.11.1904

Талантливый человек

Началось все с того, что в мою дверь неуверенно постучали. Стук еще не прекратился, а я уже крикнул: «Войдите». Дверь распахнулась, и послышался голос того, кто ее отворил.

— Йозеф Калуп, малярных дел мастер,— объявил гость.— Живу под вами, молодой человек. Если соблаговолите припомнить, когда вы вселялись, это я вам сказал: «Вот задумаете когда-нибудь переезжать, сделайте милость, вспомните про меня, у меня и тележка есть, и всякая ветошь, так я со всем моим удовольствием перевезу вас». Уж как я рад, молодой человек. Извиняйте, ежели что не так скажу,— работаешь, знаете, целую неделю, отчего не развлечься? В нашем-то квартале ночами, бывает, не спишь, все где-нибудь по квартирам малярничаешь, страх как намучаешься, так почему бы хоть раз не позволить себе порадоваться жизни, тем более что пьешь за свои, за кровные. Поверьте, молодой человек, я так рад, что вы поселились в нашем доме, приятно ведь потолковать с господином, который рассказы для газет пишет. Здесь жил один такой, только он писал для «Кружка сапожников» про то, какие бывают сорта кож, да про клей и про всякие прочие полезные вещи. Я ему все время твердил: «Напишите какой ни то роман». Но он только головой качал и говорил: «Для этого я уже очень стар»— и опять строчил про подметки и всякое такое. Да, был я знаком и еще с одним, тот тоже для газет писал. В банке служил, так чуть что стряется, он сразу про то и отпишет. Один раз о беспорядках в банке важную бумагу написал. Ну, его оттуда и выперли. Вы — совсем другое дело. Вы вон какие истории сочиняете. Мне на днях довелось одну прочесть. Я как раз сына за хлебом посылал, а у него вечно руки грязные, вот я и говорю: «Попроси батон в бумагу завернуть». Воротился мальчишка, осмотрел я эту бумагу, гляжу — газетное приложение, и в нем рассказ напечатан. Читаю: написал такой-то. Увидел я это и сразу понял, что это молодой человек, наш верхний сосед. Говорю мальчишке: «Читай». Читал он читал, да вдруг запнулся. «Ты что, дальше давай». — «Здесь,— говорит,— не все». Ай-ай-ай, они ему от приложения только часть дали.

Но и эти несколько строк были хороши. Я сказал себе: ты посетишь молодого господина, который умеет так хорошо писать, и попросишь о небольшой любезности. Постучишься и скажешь: «Я, Йозеф Калуп, маляр». Потом выложишь ему, о чем речь, если, конечно, не оторвешь молодого господина от дел.

— О, ничуть,— сказал я,— только объясните, чего вы хотите. Сделаю все, что в моих силах (я выражаюсь, как принято в подобных случаях говорить на театре). Будьте покойны, не было человека, который обратился бы ко мне впустую (если только не просил взаймы).

— Речь идет об одном вдове,— грустно признался пан Калуп,— и этот вдовец — я. Два месяца назад у меня скончалась жена. Осталось двое ребят, трудно мне с ними. Скверно себя ведут, паршивцы. Если вы, молодой человек, услышите: «И-и-и!»— значит, верещит мой младшенький, хоть я до него еще пальцем не дотронулся. Если же послышится рев: «А-а-а!» — так это мой старший, стоит мне руку на него поднять. Медленно, но верно вгоняют в гроб. Мне сорок пять, хотелось бы еще на белом свете пожить, да, видно, замучат меня эти сорванцы. С тех пор как жена умерла, готовить — их обязанность. Я как иду куда малярничать — всегда беру одного с собой, другой дома еду готовит. Приходим голодные, а еды нет, а если и есть, то в рот не возьмешь. Оставишь дома меньшого — та же история. Не кофе, а бурда. То одна соседка придет, то другая, одна присоветует одно, другая — другое, у мальчишки — голова кругом, вот и получается мерзость. Если обоих дома оставить, передерутся, а то и разобьют чего; как ни приду, один — непременно с увечьем. Дома никакого тебе порядка. Всякий раз, как захочешь поест вдоволь, идешь в трактир. Тут опять загвоздка, потому как я считаю — коль пришел в трактир, так уж гуляй. Сидишь себе и сидишь, пьешь и пьешь. И вот уже хорош. Кончу, бывало, малевать, сбегаю домой за цитрой и назад — в трактир. Умею, кроме того, чревоушателя изображать и играть на стаканчиках. Дома у меня шестьдесят таких стаканчиков и палочка. Стучу по ним палочкой, они и отзванивают: «Кладбище, ты кладбище, зеленый садик мой». Очень я люблю эту пес-

ню, всегда она за душу берет. Сам знаю, какой я неухоженный, в какой упадок хозяйство пришло, и словно мне кто нашептывает: женись! Лучше будет. В доме порядок. Придешь, поешь как следует, мальчишки под присмотром, вырастут из них — как бы это сказать?

— Честные граждане,— помог я ему.

— Вот именно,— продолжал пан Калуп,— честные граждане. Женись — легко сказать, а как?.. Тут-то мне и пришло в голову, что существуют газеты, а в газетах — брачные объявления. Просмотрел я их, выбрал себе, значит, вырезал — и к вам, молодой человек, за советом, что скажете?

Он протянул мне газетную вырезку.

БРАЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Молодая сорокалетняя вдова
приятной наружности (состояние 400 крон)
хотела бы познакомиться с господином
более солидного возраста, хорошо обеспеченным.
Вдовцы не исключаются. Главное — душа и прочее.

— Вот я и просил бы вас, молодой человек,— сказал пан Калуп,— не соблаговолите ли составить письмецо, так, мол, и так: вдовец хотел бы жениться на вдове. Можете отметить, что я люблю музыку, мужем был бы хорошим, в деревне домик имеется, в общем, расхвалите меня, молодой человек, сам-то я не мастак.

— Будьте покойны,— сказал я,— уж я постараюсь расписать вас с самой лучшей стороны и приложу все усилия, чтобы она с вами соединилась. Приходите за письмом немного погодя.

— Век буду помнить,— поблагодарил он, и с той минуты я сделался секретарем пана Калупа, малярных дел мастера.

Сел я за стол и принялся размышлять. Уж коли писать, так красиво. Надо почувствовать себя в его шкуре. Представим себе, что я — вдовец, нарисуем в мыслях образ этой молодой сорокалетней вдовы и дадим волю перу. Я взял почтовую бумагу и приступил:

Многоуважаемая госпожа!

Ах! Человеческая жизнь полна случайностей. Одной из таких случайностей, но только милой и приятной, было то, что взор мой невольно, по всей вероятности под действием силы нашего взаимного душевного притяжения, упал на Ваше, многоуважаемая госпожа, достоцитимое брачное объявление, помещенное в рубрике «Молодая вдова».

В самом деле, это, должно быть, случайность — ведь там было столько предложений, а я все время возвращался единственно к Вашему. Я вдов, многоуважаемая госпожа,— видно, сама судьба распорядилась так, чтобы мы, вдовец и вдова, нашли друг друга, чтобы мы, покинутые в самом расцвете молодости, вкусили бы еще радостей спокойной жизни под пологом вечной любви. Я словно создан для любви, создан для того, чтобы, подав своей новой супруге твердую руку, уверенно вести ее по скалистым уступам жизни. Я встретил свою сорок пятую весну, мне всего сорок пять — и вот я уже одинок. Со мной делят одиночество мои сыновья, они так нуждаются в материнской заботе, тепле ее любящих рук.

В душах наших лед воцарился, но, я уверен, под теплыми лучами любви этот лед растает, и Вы будете той, которая вернет уют в наше разлаженное хозяйство, лишенное супруги, матери, хозяйки. Вы будете той, кто своей нежной рукой сотрет последние следы страдания, это явится моим возрождением и в то же время возрождением целого хозяйства. Подобно золотой птице феникс, восстану я из пепла скорби.

«Вообще-то он рыжий,— размышлял я,— напишу-ка, что он блондин».

И я написал:

Телосложением отличаюсь геркулесовым, белокож, белокур, борода светлая, курчавая. Для своих сироток — я заботливый отец, потому как сердце у меня доброе, и каждый, кто заглядывал в мои голубые глаза, бывало, говорил: «Вот добрая душа!» Ну, кроме того, люблю трудиться, работа — это часть моей жизни. Я добросовестный и умелый маляр. Зарабатываю на этом деле хорошие деньги, а часы досуга мне скрашивает музыка. Я му-

зыконт, музыка врачует мое горе, и я надеюсь, глубокоуважаемая, что в будущем ее сладкие звуки будут петь о нашей супружеской любви, о моей любви к Вам. Прошу Вас, многоуважаемая госпожа, соблаговолите написать, где бы мы могли встретиться, дабы наше знакомство продвигалось к желанной цели.

Присовокупляю свой адрес с выражением глубокого почтения, Йозеф Калуп, малярных дел мастер и владелец недвижимости. Понтова улица, 20.

Когда вдовец пришел, я прочитал ему письмо, и он разрыдался. Так его проняло мое послание. Потом пан Калуп заметил:

— Ну, если уж она на такое не клонет, это будет черт знает что. Бог вас вознаградит за то, что вы для меня сделали.

День спустя он пришел ко мне снова.

— Ответила, молодой человек, благослови вас бог, а уж как хорошо написала, извольте сами прочесть.

Я прочел письмо, написанное женской рукой, непривычной к перу. Послание кишело орфографическими ошибками, которые я здесь воспроизводить не буду.

Уважаемый пан!

Ваше письмо так меня растрогало, что я расплакалась.

Чувства мои такие же, как и Ваши.

У меня 400 крон, я брюнетка и вдова пана колбасника. Я рада, что Вы блондин, покойный тоже был блондин. Я получила массу предложений, но откликнулась только на Ваше.

Мы увидимся в воскресенье возле ратуши, там, где продают апельсины, в десять часов.

Я буду вся в черном, только на шляпе будет большая роза. Отвечайте, как Вас опознать, через тот же раздел, что был в газете: «Молодая вдова», до востребования.

Вас приветствует Ваша новая знакомая Анна Бракова, вдова колбасника Брака.

Имя Йозеф мне нравится. Покойного звали Йозеф Брак.

— Ага, вот уж и ответила,— торжествующе восклицал пан Калуп.— Ведь ответила же!

Тут он вдруг переменял тон и заскулил:

— Бога ради, молодой человек, прошу вас, напишите ей, что я жду ее с нетерпением, что на мне будет черная шляпа, фрак, а в руке, как принято, я буду держать белый платок.

— Охотно помогу вам,— сказал я,— напишу еще одно душещипательное письмоце.

— Вот и спасибо,— благодарил вдовец, стоя в дверях,— да не забудьте про белый платок.

— О, непременно!

Я подошел к столу и написал:

Многоуважаемая госпожа!

Во мрак моего скорбного существования проник лучик света; он разгорелся, запылал и излучает теперь яркое приятное тепло. Этот лучик — Ваше письмо. Оно воспламенило мое сердце, разожгло мои желания, и я не могу дождаться минуты, когда подам Вам свою руку и горячо пожму Вашу. В воскресенье! Это воскресенье станет для меня двойным праздником. Я жду этого дня — и как жду! Какими длинными покажутся мне те два дня, которые разделяют нас. Я буду считать секунды, буду мрачен и нетерпелив, но все-таки счастлив. А когда наступит этот день, эта прекрасная минута, я с бьющимся сердцем буду ждать Вас на указанном месте. А Вы, завидев вдали красивого блондина во фраке и черной шляпе, поспешите сократить его мучения. Трепещущий на ветру белый платок в его руке будет знаком нетерпения и страсти.

Ну, прощайте! Прячу Ваше письмо у сердца!

Прощайте! Прощайте! Ваши руки мысленно целует Ваш Йозеф Калуп, малярных дел мастер и владелец недвижимости.

P. S. Я жду, жду, считаю секунды.

Смею ли сказать: «Прощайте, Анинка»?

Когда я с надлежащим выражением прочел пану Калупу это письмо, его глаза наполнились слезами.

— Бог вознаградит вас,— в волнении благодарил он,— за ваши прекрасные сочинения. Когда я их слушаю, то, ей-богу, начинаю любить эту бабенку.

С той поры прошло три месяца. Пан Калуп ухаживал за пани Браковой, вдовой пана колбасника. Моими стараниями знакомство их укреплялось. Я писал за него пылкие любовные послания, совершенно сроднившись с мыслью, что это не он, а я ухаживаю за пани Браковой.

Это были прекрасные письма. Нежные и бурные. Сочиняя их, я глядел из окна на противоположную сторону улицы, где жила одна хорошенькая барышня. Порой — смотря по настроению — письма получались сентиментальные и трогательные; и ни одно не миновало цели.

Пани Бракова, грубо говоря, клевала.

Пан Калуп не успевал меня благодарить. Однажды он рассказал, как при упоминании о последнем письме пани Бракова без чувств упала в его объятия. В другой раз он поведал, что она, обливаясь слезами, заключила его в свои объятия. Тут он высказал предположение, что, дескать, вероятно, чтобы такая любовь была вызвана сочиненным мною письмом. Сколько помнится, оно кончалось вопросом: «Ну, голубушка, пора держать ответ, на самом ли деле ты меня любишь?»

Наконец сыграли свадьбу. На свадебном пиру я получил возможность вдоволь налюбоваться этой толстой вдовой. Брр! Меня и теперь при воспоминании о ней мороз подирает по коже. И это ей я писал такие прекрасные письма, которые вскружили ей голову, а пану Калупу до того помрачили рассудок, что он и впрямь решил, будто взял за себя бог весть какую красотку.

На третий день после свадьбы снизу донесся страшный шум.

— Я,— кричала пани Калупова,— пошла за тебя только из-за тех прекрасных писем, а ты, как я погляжу, просто мерзавец. На, получай! Вот тебе! Еще захотел, еще разок? На! Бум!..

Не успел я сообразить что к чему, как распахнулась дверь и ко мне ворвалась пани Калупова.

— Я знаю все,— восклицала она,— все. Этот негодяй сознанся. Те чудные письма писали вы. Не отпирайтесь.

Она вытерла слезы платком и вздохнула: «Такие чудные письма!» Не успел я глазом моргнуть, как она обняла меня и поцеловала.

А я? Я потерял сознание.

Когда я пришел в себя, то увидел, что в квартире полно народа, и почувствовал, что на меня брызжут водой с водкой и уксусом.

Пани Калуповой среди присутствующих не было.

— Хорошо, что мы вас воскресили,— сказал сосед,— было бы жаль, вы — талант. Вам уже лучше?

Мне было уже лучше. И в тот же день я, талантливый человек, перебрался на другой конец города.

Сб. «Илюстроване ческе гуморески»—1905 г.

Холодная натура

Каждый вечер, с семи до десяти, господа Боржек, Тесарж и Кинтер проводили в кабачке, за одним и тем же столиком. Толковали о своей семейной жизни, которая текла ровно и счастливо, потому что все трое были хорошими мужьями, то есть домой приходили всегда в трезвом виде, в здравом рас-судке и в урочное время.

После семьи разговор переходил на службу: рассказывали разные случаи из жизни учреждения, где они работали, сидя в одной комнате. Разговоры вели самые безобидные, задеть никого не могли — вроде того, что, дескать, у пана заведующе-го на только что составленную бумагу о повышении одного служащего опрокинулась чернильница, из-за чего повышение было отменено; или вспоминали про то, как в конторе зады-мила печь, а сажа оседала на табличку: «Курить в помещении запрещается»— и про столь же любопытные происшествия.

Политикой они не интересовались, и, если в этой области что и случалось, пан Боржек ограничивался замечанием: «На-до же, кто бы мог подумать». Пан Тесарж на это замечание отзывался так: «Ну и дела, ничего не скажешь», а пан Кинтер уточнял: «Все это весьма странно».

И чтобы политики больше не касаться, пан Боржек спрашивал: «А что, пан Тесарж, ваша жена здорова?» «Спасибо,— отвечал пан Тесарж,— у нас все здоровы. А как ваши детки, пан Кинтер?»

Так, в приятельской беседе, спокойно проводили они каждый день ровно по три часа.

Однажды, когда они, по обыкновению, сидели и беседовали, осторожно вытряхивая в пепельницу пепел из своих трубок, в кабачок вошел высокий крепкий мужчина с длинными усами и странно-горестной улыбкой на лице.

Усевшись за соседний столик, он стал внимательно прислушиваться. Пан Боржек как раз в это время задавал свой неизменный вопрос: «А что, пан Тесарж, ваша жена здорова?», как вдруг незнакомец обратился к беседующим со словами:

— Поверите ли, господа, год назад в самый зной отправился я с покойным шурином в Стромовку*, так с него пот ручьем, а мне — хоть бы что!

— Подумаешь,— сказал пан Тесарж, которого неприятно задело, что длинноусый незнакомец пытается встрять в разговор. И он поспешил ответить на вопрос пана Боржека: — Спасибо, супруга здорова, а что ваши детки, пан Боржек?

— Понимаете, господа,— перебил длинноусый,— я потому не вспотел, что я — холодная натура.

— Детишки здоровы, пан Тесарж,— отвечал пан Боржек; однако незнакомец не унимался и продолжал:

— Господа, вы верите, что бывают натуры холодные и горячие? Я, например, как уже было сказано, отношусь к людям хладнокровным, с холодной сущностью, или натурой. Я вам, верно, уже рассказывал, как с покойным шурином ходили мы в Стромовку. Солнце палит, а мне не жарко.

И еще должен вам сказать, что во время болезни мне на пользу только тепло. Холодная сущность излечивается теплом,

* Парк в Праге, в начале века — место отдыха привилегированного общества.

горячая — холодом. И потому, господа,— простите, я лучше пересяду к вам,— и потому, стало быть, мне всегда помогают одни только теплые компрессы.

Заболел я однажды гриппом, позвал врача, и врач велел завернуть меня в мокрую холодную простыню. Чтобы, значит, я пропотел. Я говорю: «Пан доктор, вы знаете изречение о том, что мы знаем только, что ничего не знаем. Если мне непременно надо следовать вашим советам, то пожалуйста письменное обязательство в том, что похороните меня за собственный счет и позаботитесь о вдове». И добавил: «Ведь у меня с рождения холодная натура. Меня и без того озноб бьет, а тут еще холодный компресс. Чем вы думаете, пан доктор?» И представьте, господа, доктор прописал теплые компрессы, так что через две недели я снова был как огурчик.

Пан Тесарж мрачно взглянул на пана Кинтера, пан Кинтер — на пана Боржека, пан Боржек — на пана Тесаржа, и они втроем одновременно произнесли: «Гм-м».

— Да, господа,— продолжал человек с холодной натурой,— я — хладнокровный, и тепло всегда шло мне на пользу. Вот вам еще один случай. В армии я служил в драгунах и как рекрут обязан был объезжать лошадей. Хотел как-то вскочить на лошадь, да забыл схватить эту скотину за узду. Так вот, только я на нее взобрался, эта подлюка вдруг как взбрыкнет, так что я перелетел через нее и кубарем — на землю. Хорошо еще, свалился в дерн, а то не сидеть бы мне здесь с вами. Небольшой шишкой на голове отделался да руку вот в этом месте ушиб. Рука сразу же распухла и стала как подушка. Я тут же заявил о своей болезни, и полковой врач прописал мне холодные компрессы.

«Значит, осмелюсь доложить, до утра не дотяну»,— сказал я. «Это почему еще?»—«Мне, осмелюсь доложить, помогает только теплый компресс»,— отвечал я. «Donnerwetter*, дурак набитый!— набросился на меня полковой доктор.— Раз вы такой умный, мне тут делать нечего. Холодный компресс —

* Черт подери! (нем.)

и никаких разговоров, или отправитесь в карцер».

Что тут будешь делать! Сделал себе холодный компресс и всю ночь кричал от боли. Утром пришел врач, а рука еще больше опухла. Он испугался, а я говорю: «Осмелюсь доложить, у меня холодное естество, то есть холодная натура». Он осмотрел мою руку и сказал: «Ну делайте, осел вы этакий, теплый компресс, в другой раз не будете с лошади падать».

На третий день, господа, рука была в порядке, истинная правда, как то, что я сейчас перед вами.

А доктор потом у каждого, с кем случалось нечто подобное, осведомлялся, не холодная ли у пострадавшего сущность, то бишь натура.

Снова послышалось «Гм, гм», и пан Тесарж, лишь бы что-нибудь сказать, заметил:

— Ведь есть авторитеты, которые рекомендуют в подобных случаях холодные компрессы.

— Чем и доводят пациентов до смерти,— разгорячился человек с холодной сущностью,— да, господа, такие авторитеты должны за решеткой сидеть.

— Но в вашем распоряжении есть, например, компресс Присница,— растерянно сказал пан Боржек.

— И вы этому верите, господа?— осведомился незнакомец.— Холодная сущность, господа, излечивается теплом, только теплом.

— Кнейп, сударь,— возразил пан Кинтер,— лечил только холодной водой, и я в этот метод верю.

— Так я вам скажу,— вскричал человек с холодной натурой, стуча кулаком по столу,— что Кнейп был дурак, морочивший людям голову.

— Не стучите, пожалуйста, кулаком,— вмешался хозяин трактира, который до той поры молча стоял за стойкой.

Тут человек холодной сущности завопил:

— Я человек хладнокровный, но терпеть не могу, когда люди, которые ничего не испытали, подпускают шпильки.

— Но позвольте,— оправдывался пан Кинтер,— я сказал только, что верю в холодные компрессы.

— В таком случае вы такой же дурак, как и все остальные,— орал гость,— это я вам в глаза скажу, потому что по опыту знаю.

После такого заявления незнакомца трактирщик, господ Боржек, Тесарж и Кинтер повскакали с мест, и пан Тесарж сказал:

— А ну повторите!

В кабачке поднялся шум, человек холодной сущности, или натуры, чтобы поразить всю компанию разом, опрокинул стол. Началась потасовка, гость направо и налево молотил кулаками. С криком «Патруль!» трактирщик устремился на улицу.

Дальше события разворачивались в такой последовательности: сперва подоспел один полицейский, потом второй, хладнокровный человек кулаком выбил зуб пану Кинтеру, пана Тесаржа он душил правой рукой, а одного из полицейских — левой, борьба с полицейскими проходила с переменным успехом.

Господа Боржек, Тесарж, Кинтер и пан трактирщик заперлись в пивной. Ротозеи и любопытствующие заглядывали в двери. Трое полицейских повалили отчаянно сопротивлявшегося человека. Появился «воронок», и «хладнокровного» человека из ресторации перетащили на тротуар.

Битва продолжалась и на тротуаре. Кто-то из публики кричал: «Держи его крепче!»

В результате применения атлетического приема — захвата за голову «*tour de hanche en tête*» — человек холодной сущности потерпел поражение. Общественный патруль помог втолкнуть его в «воронок». Дверцы захлопнулись, и «воронок» отбыл в полицию.

После этого случая, если неизвестный мужчина, придя в трактир, вступает в разговор, господ Боржек, Тесарж и Кинтер перво-наперво ловко вызнают, не холодный ли у него темперамент, то бишь не холодная ли у него сущность, или натура.

Сб. «Иллюстроване ческе гуморески» — 1905 г.

Вопросы читателям

Отрывок первый

Когда они вошли в парк, он сказал: «Приподнимите юбку, тут грязно». Она послушалась, и они зашагали в вечерних сумерках по дороге, которая была усыпана листьями, сорванными осенним ветром. Она вдруг разрыдалась, сотрясаемая судорожным плачем, который на протяжении всей прогулки тщетно старалась подавить. Он закурил сигару и, выпуская дым, спокойно спросил:

— Вы плачете, моя дорогая?

Она всхлипнула.

— Не будьте сентиментальны,— проговорил он.— Поймите же, наконец, между нами все кончено. Мы любили друг друга, а теперь можем спокойно расстаться. Нет ничего проще. Это все дурацкие романы! Небось вычитали где-нибудь, что в подобных случаях полагается лить слезы. Будьте благоразумны, как прежде. Мы целый год любили друг друга — и хватит.

— Я всем пожертвовала ради вас...— сквозь слезы прошептала она то, что в подобных случаях говорят все женщины.

— Какая глупость,— прервал он ее.— Мы любили друг друга. Я вас ни к чему не принуждал. Вы любили меня по своей воле, так что нечего говорить о жертвах.

Он рассуждал трезво и с удовольствием курил, она, размазывая по щекам слезы, наконец вымолвила:

— Если вы меня бросите, я покончу с собой.

Он посмеялся этому как хорошей шутке и ответил:

— Моя дорогая, подобные высказывания слишком наивны. Что-то похожее мне доводилось читать в календаре.

— вспомните то время, когда вы целовали меня, как это было прекрасно, а теперь это никогда, никогда больше не повторится, останутся одни лишь напоминания...

— Вам следует выражаться правильнее с точки зрения грамматики. Слово «напоминание» можно употребить, говоря о портном, который напоминает вам о неоплаченном костюме.

— Я и вас убью!— выкрикнула девушка.

Он взял ее за руку и произнес отеческим тоном:

— Не торопитесь, моя дорогая, мы не в театре. Вы слишком взволнованы, это вам вредит. И потом, мы не в Италии, где практикуются подобные вещи, да и на испанку вы не похожи. Я провожу вас домой...

— Не надо,— отказалась она, заливаясь слезами,— спасибо; если вы меня бросите, я покончу с собой.

— Не будьте наивны, прощайте.

Он ушел, а она следила взглядом за огоньком его сигары до тех пор, пока он не пропал из виду.

На следующий день она приняла большую дозу модного детективного романа.

Отрывок второй

Они сели на лавочку, опять-таки осенним вечером, и листья усыпали дорогу, как в первом отрывке.

— Не курите,— потребовала она, заметив, что он собирается зажечь сигарету. Он послушался и зарыдал:

— Значит, вы меня уже не любите?

— Нет,— резко ответила она,— я вас любила когда-то, а теперь вы мне опротивели. Расстанемся без сожалений.

— Расстаться?— всхлипнул он.— Нет, это невозможно. Как я могу расстаться с вами, ведь вы — мое второе «я».

Она засмеялась и сказала:

— Все это пустое, как и наше бывшее знакомство.

— Вспомните тот сад, где вы меня целовали, закатное солнце, аромат деревьев.

— И птичек, которые щебетали «чирик-чирик»,— язвительно перебила она.— Вы были самым нежным из моих поклонников, и тогда это мне нравилось. Я ведь очень чувствительна.

Он все рыдал, а она между тем продолжала насмехаться над ним:

— Какой же вы мужчина, вы же баба.

— Я всем пожертвовал ради вас,— всхлипнул он,— все

свои стихи я посвятил вам, я боготворил вас. Вы были для меня почти богиней.

— Вы невыносимы,— сказала она, закуривая,— вы ужас как глупы.

— Я покончу с собой!— воскликнул он в отчаянии.

— Не кричите,— попросила она,— а то позову жандарма, и он заберет вас, чтобы вы не натворили каких делов.

Он хотел ее обнять, но она, оттолкнув его, встала.

— Прощайте,— сказала она,— выкиньте эти глупости из головы. На мне свет клином не сошелся.

— Не покидайте меня,— жалобно всхлипнул он,— моя дорогая, любовь моя. Я покончу с собой.

— Валяйте,— разрешила она, и он остался сидеть на лавочке, следя за огоньком ее сигареты.

На третий день его извлекли из винного погребка и вместе с ним листок со следующим скверным стихом:

*Моя любовь когда-то мрак озарила,
А ты наконец, дорогая моя,
Героя своего все же забыла.*

Отрывок третий

А теперь я предлагаю читателям ответить на несколько вопросов: кто больший сумасброд: дама из первого отрывка, господин из второго — или автор, написавший о них?

«Неруда»—14.02.1906

Из дневника наивной девушки

...Очень забавно это вышло. Он только что начал рассказывать о гражданине Скрбенском*, как за нами погнался полицейский — этому блюстителю порядка не понравилось, что мы си-

* Гражданин Скрбенский — С. Лев (1863—1938) — в начале века пражский архиепископ.

ганули через решетку; впрочем, не знаю, куда он глядел — мы спрятались за деревья, а он пролетел мимо, и мы целых полчаса смотрели, как нас разыскивает правосудие, жалко, не было у нас аппарата, вышел бы превосходный снимок: глазищи из орбит вылезают, пасть открыта — гончий пес, ни дать ни взять. Только мы совсем забыли о гражданине Скрбенском. Вообще-то я совсем не понимаю, связано это с политикой или нет (мой знакомый как раз и собирался ввести меня в курс политической жизни). Скрбенский — он ведь деятель церкви, значит, политика его занимает так же мало, как и меня; впрочем, как знать — позавчера наша кухарка, вернувшись из костела, разглагольствовала, что человек он весьма достойный, что готовится какое-то шествие с иллюминацией. Наверное, мой приятель как раз и собирался рассказать мне об этой иллюминации. Этот мой знакомый так странно говорит. Иногда даже кажется, будто он надо мной шутки шутит. Сегодня, например, проверял меня по географии. Должна признаться, вопрос было задано гораздо больше, чем получено ответов. И когда я уже в двадцатый раз призналась, что понятия не имею о названном городе, он спросил: «Но о Лурде-то* вы слышали, наверное?» (Как хоть это пишется, «Лурды» или «Лурд»?) Я, конечно, ничего о них не слыхала, но мне уж сделалось неловко, и я сказала, что география мне опротивела, а он тут вдруг и говорит: «Ну бог с ней, с географией, тут вы ни в чем не разбираетесь. А вот в обморок упасть вы смогли бы?»—«Зачем это мне падать в обморок?»—«Ну, знаете, как там, в Лурде, дело было? С какой-то девицей сделалось дурно, и явилась ей дева Мария, вот и стал Лурд Лурдом. К примеру, если бы в Гребовце вы свалились в обморок и тоже свершилось бы чудо — ну, явилась бы дева Мария (тут он снял шляпу, выходит, он все-таки набожный, а я-то опасалась, что христианин он никудышный), а на месте виллы Гребя сделали бы монастырь, к нам ходили бы паломники, и наш родной город разбогател бы; да-да, вера помогает людям стать на ноги, об этом свидетельствует и цитата из Библии:

* Место паломничества католиков.

«Вера твоя тебя исцелила». Все это он проговорил таким странным голосом — впрочем, какие глупости, неужели и вправду на Виноградах* могло произойти чудо? Да если бы я была господом богом, так Винограды были бы у меня бельмом на глазу — ну может ли город допустить такое богохульство и поставить театр напротив костела? Ладно, если бы они давали пьесы на богоугодные темы либо такие, когда можно всласть поплакать — к примеру, «Мельник и его дитя»**. Или же в актеры выбирали одних только чистых душою людей — ну, скажем, священнослужителей, — нет, это тоже не годится; в одном представлении я видела (это была вообще-то приличная, нравственная пьеса), как один хозяин обнял кухарку, — а ведь это, разумеется, исключалось бы, если бы хозяина играл священник.

Недавно я попросила, чтобы мой знакомый растолковал мне про политические партии Чехии. Он отвечал, что на это нужно много времени. Я сказала, что мне бы хотелось иметь о них хотя бы слабенькое представление, просто чтоб знать, как к какой партии относиться. Он остановился и начал загибать пальцы. «Что это вы считаете?» — «Считаю, сколько в чешском языке найдется крепких ругательств». — «Уж лучше бы вы пересчитали политические партии, а ругательства — на что они?» — «Сей момент, барышня. Я должен был убедиться, найдется ли у нас столько ругательств, сколько политических партий. Нет, чешский язык на самом деле очень богат и разнообразен — ругательств в нем и бранных слов много-много больше, чем наших групп и партий. Итак, начнем учиться политике. А поскольку я не желал бы навязывать вам свои убеждения, вы будете вырабатывать их самостоятельно. Значит, в первую очередь — старочехи***. Вы знаете, что такое старочех, барышня?»

Я молчала (не могла же я признаться, что в моем представ-

* Винограды — фешенебельный район Праги, где было много богатых вилл, район имел собственное самоуправление.

** «Мельник и его дитя» — пьеса немецкого драматурга Арношта Раураха.

*** Старочехи — крупная, к началу двадцатого века уже ставшая реакционной чешская партия.

лении это седовласый пожилой господин советник?).

— Ну, смелей, употребите любое из расхожих чешских ругательств — только достаточно сильных.

— Вроде «старый осел»?

— Ну вот, видите, не такое уж политика страшное дело. Теперь примемся за младочехов*. Выскажитесь-ка о младочехах, барышня.

Свое представление о младочехах я высказала довольно-таки выразительно. Действительно, не такое уж это сложное дело — учиться политике.

Когда мы подобрались чуть ли не к пятнадцатой партии и я не смогла вспомнить ни одного приличного животного, у меня с языка вдруг сорвалось: «поросята». Тут я покраснела (хотя дома не краснею никогда), а он сказал, что я никак не должна смущаться, поскольку это совершенно естественное влияние политики, и что от волнения можно брякнуть все что угодно, но вообще-то политика не женское занятие, поскольку не терпит слабонервных. Вообще, в депутатском сейме слово «свинья» будто бы весьма лестное. А депутат — это, мол, человек вконец испорченный. Очень я его умоляла не выдвигать свою кандидатуру в депутаты, и он мне это торжественно обещал.

Нынче нам повстречалась повозка с сеном. Я обрадовалась — это к счастью, хорошая примета.

— Ну, значит, всему нашему народу потому так и везет, что у нас много сена,— заметил он, снял шляпу и шлепнул себя по затылку.

Вообще-то он — противный тип. Написал о какой-то вшивой истории** и сказал, что мог бы посвятить ее мне, если бы я этого пожелала. Но мне про этих вшей и подумать противно. Интеллигентный человек об этом не посмел бы даже вслух заговорить, а не то что написать.

«Новая Омладина» — 11.01.1907

* Младочехи — крупная, к началу двадцатого века уже ставшая реакционной чешская партия.

** См. рассказ Я.Гашека «Вшивая история».

Приключение с цилиндром*

В десятом часу страхового чиновника пана Гвоздичку одолела жажда. В этом, разумеется, нет ничего предосудительного, и особых трудностей для удовлетворения подобного желания тоже не бывает. Следует лишь отправиться в трактир и там выпить или перепить, смотря по обстоятельствам. Если же у вас мало денег и много работы, можете послать за пивом кого-нибудь из домашних. Это простейший выход. Можете также сами спуститься в пивную и даже должны будете это сделать, если вы холосты, как пан Гвоздичка, который, дожив до сорока двух лет, ни разу не влюбился или, точнее, выражаясь словами его несостоявшихся невест, ни разу не вступил в брак, поскольку у него «неприлично потели ноги».

Короче говоря, в десятом часу Гвоздичка находился в сложной ситуации. С одной стороны, срочная работа — заполнение страховых полисов на живых и мертвых. С другой — кувшинчик для пива в руках, а в душе, сиречь в известных извилинах мозга, — сознание неисполненного служебного долга. А с третьей — он искал шляпу. Шляпа куда-то запропастилась, и тут возникла новая дилемма: или продолжать поиски шляпы — тогда швейцариха запрет двери и это дело обойдется ему в десять крейцеров чаевых (он строил из себя барина и не имел своего ключа), — или надеть цилиндр и в нем спуститься за пивом, что даст экономию в десять крейцеров, которые разумнее ассигновать на пиво.

Вывод был так ясен, что Гвоздичка не мешкая схватил цилиндр и вышел на лестницу. Путь лежал в распивочную, что находилась на другой стороне улицы.

На улице бушевал ветер. Это был борá, — правда, так сказать, в сокращенном, «виноградском» издании, но весьма солидный для этого района, если учесть, что от Далмации до нас столько и столько-то сот километров.

Пан Гвоздичка сунул кувшинчик под мышку и обеими рука-

* Точное название «Приключение, случившееся с паном Карафиатом». «Карафиат» по-чешски — гвоздичка.

ми ухватился за цилиндр. С героическим видом он перебрался через Милешовскую улицу и вошел в пивную.

— Отличный цилиндр, отличный! — приветствовал его буфетчик. — Сколько вам, любезнейший?

— Нацедите литр, да поскорее. На улице — ветер, и швейцариха скоро запрет двери.

— Ай да ветерок! Красота! — заметил буфетчик, цедя пиво. — И в этакую непогоду ваша милость изволили надеть цилиндрик. Ха, ха!

— Уже унесло шесть котелков, — изрек чей-то мрачный голос.

На двери обрушилась буря.

— Коли там этакая мразь, — сказал буфетчик, сдувая пену с пива, — обождали бы, сударь, вы в одном сюртуке; глядишь, оно скоро и стихнет.

— Стихнет, как же, так и жди! — отозвался пессимист позади. — Закрутит тебя да хлоп — носом в грязь.

Не слушая этих мрачных прогнозов, пан Гвоздичка вышел на улицу.

Одной рукой он обнимал кувшинчик с пивом, другой придерживал цилиндр.

Ветер неистовствовал. Он набросился на цилиндр. Порыв, за ним другой, третий...

Пан Гвоздичка чувствовал, как цилиндр рвется у него из пальцев.

Ужасное положение!

Вихрь налетел снова — и цилиндр Гвоздички вознесся в воздух, завертелся и покатился по мостовой. Невзирая на грязь, пан Гвоздичка вприпрыжку понесся за ним. Цилиндр завернул за угол. Гвоздичка — тоже. Цилиндр очутился на площади короля Иржи из Подебрад, потом ветер погнал его дальше, в темень городских садов.

Пан Гвоздичка с кувшинчиком и цилиндр без пана Гвоздички исчезли в крошечной тьме среди кустов, глины и грязных тропинок. Цилиндр прокатился по саду, а Гвоздичка на углу Водонапорной улицы грохнулся наземь, запнувшись о чью-то трость.

Трость разлетелась в щепы; а при падении пана Гвоздички разбился и кувшинчик, в котором, впрочем, после такой гонки пива оставалось едва ли на крейцер.

Пан Гвоздичка живо вскочил на ноги и, преследуемый проклятьями владельца трости, помчался дальше. Он инстинктивно чувствовал, что цилиндр понесло к водокачке. На улицах не было ни души.

Да! Цилиндр скакал к водокачке. Гвоздичка увидел катящийся черный предмет. Ура! Только подбавить прыти.

Пан Гвоздичка бежал, но цилиндр мчался. Пан Гвоздичка помчался, но цилиндр полетел как стрела.

В этот момент из-за угла вынырнул трамвай. Цилиндр вкатился под раму, а пан Гвоздичка, недолго думая, вскочил в вагон и ухватился за сигнальный звонок.

— Помогите! Он под колесами! — закричал он и выскочил из вагона.

Вожатый затормозил. Пассажиры повскакали с мест, а некоторые даже перекрестились: «Боже милосердный, опять несчастье!»

Кондуктор нервничал и выпускал самых любопытных. Вожатый почел за благо дать задний ход.

— Ради бога! Вы его совсем растерзаете,— взмолился пан Гвоздичка.

— Вы слышите: «его»! Это мужчина! Наверное, мальчик,— рассуждали в вагоне.— Если бы девочка, он бы кричал «её».— И народ поспешил принять участие в спасательных работах.

Пан Гвоздичка стоял перед вагоном, осыпaeмый вопросами. Он был смущен и огорошен и твердил одно и то же:

— Я и обернуться не успел... Трах — и он уж под трамваем. Ах, не надо было брать его с собою, это с моей стороны неразумно... Пошел за пивом и взял его...

— Крика слышно не было,— рассудительно заметил кто-то из окружающих.

— Поднимите вагон!— требовал другой пассажир, потрясенный несчастьем.

— У меня слабый желудок,— со всей серьезностью признал-

ся какой-то прилично одетый субъект,— однажды я уже видел такую картину и больше не хочу.

— Ах, какая неприятность!— твердил Гвоздичка, подавленный и бледный от усталости.

— Неприятность! Это ужасное несчастье, а не неприятность,— накинулся на него какой-то человек.— Как вам не стыдно, скотина вы этакая!

Кондуктор вглядывался во тьму под вагоном, боясь зажечь спичку и увидеть потоки крови.

— Не отзывается!— констатировал он среди общего молчания.

Вожатый тем временем собирал свидетелей в пользу того, что он звонил изо всех сил и погибший сам виноват в несчастье.

Несколько человек подтвердили это, а остальные принялись возмущаться отсутствием на вагоне предохранительных сеток. Кто-то требовал скорую помощь.

— Ведь я не виновен, скажите,— обратился к Гвоздичке вожатый.— От этого зависит судьба моей семьи. Одиннадцать человек детей...— добавил он тихо, и слезы навернулись у него на глаза.— Он протянул Гвоздичке руку. Страховой чиновник стиснул ее и пробормотал:

— Вы не виновны, я знаю. Поезжайте дальше, это, в сущности, пустяки.

Всеобщее возмущение бушевало вокруг. На Гвоздичку даже замахнулись палками.

— Это скотина, а не человек!— слышатся голоса.

Вдали показался полицейский. Кто-то требовал ареста пана Гвоздички, несколько человек держали его за рукав, взывая: «Постовой!»

Никто так и не разобрался, в чем дело. Кто-то попал под колеса, хотя вожатый давал звонки, кого-то раздавило, а этот варвар, пан Гвоздичка, упрашивает, чтобы трамвай ехал дальше через тяжело раненного или даже мертвого человека...

Не обращая внимания на суматоху, полицейский отважно чиркнул спичкой и заглянул под колеса. Потом подошел к пану Гвоздичке.

— У вас унесло цилиндр, верно?— сурово спросил он.

— Ну да, ветер сорвал его у меня с головы,— пролепетал пан Гвоздичка.

— Именем закона, вы задержаны. За что? Он еще спрашивает?! Будет тут дурачить людей. Марш за мною!

Неудовлетворенная публика вернулась в вагон, и трамвай тронулся. Ошеломленный пан Гвоздичка с непокрытой головой в сопровождении полицейского прошептал в полицейский участок...

«Весела Прага»— июль, 1907

Дороговизна

Мне припоминается древняя история начала четвертого периода Римской империи. Припоминается эпоха Гракхов (153—121), бедственное положение подавляющего большинства римских граждан того времени и голодные бунты, вспыхнувшие в период великих социальных реформ Древнего Рима.

Отчего взбунтовались тогда римские граждане? Им нечего было есть, поскольку цену на хлеб определяли богатейшие слои Рима, которые захватили в свои руки всю торговлю и промышленное производство, завладели народным имуществом и использовали дешевую силу рабов.

Бунтовал народ римский до той поры, пока не выступил трибун Тиберий Семпроний Гракх. Трибун предложил умерить страдания людей, разделив наследство императора Аттала III, которое тот завещал Римской империи. Владетельным лицам Гракх оказался негоден и поэтому был убит на рыночной площади своими же приверженцами. Сходную программу выдвинул его брат Гай Семпроний Гракх. Этот трибун предложил умерить рост цен на зерно, продавая его из государственных запасов вдвое дешевле, чем богачи на рынках. Он окончил точно так же, как его брат. После неудачной попытки основать для бедных колонию в Карфагене ему пришлось покончить с собой, а три тысячи его несчастных сторонников были казнены. Таковы исторические реминисценции.

Однако то, что читаешь в газетах нашего времени, отнюдь не

история и не воспоминание, а скорее атмосфера сегодняшнего дня.

Голодные бунты в Древнем Риме, рост цен на хлеб, отвергнутые римским сенатом проекты улучшения жизненных условий бедноты...

В этом история повторяется самым блестящим образом. Правда, сторонники Гракха были перебиты. Но те времена минули безвозвратно, господа христианские социалисты*!

Хотя не столь давно на заседании парламента вы отвергли обоснованные требования и предложения депутатов социал-демократической партии**, однако уничтожить Тиберия Семпрония Гракха вам не дали.

Отчего священники из Тироля и других земель благодатного душевного настроения отвергли такое настоятельное, неотложное предложение? Уж не ради ли симпатии и пристрастия к латыни? Или к правилу: «Не гаси то, что тебя не жжет»?

Математическое это можно выразить просто: отношение к проблеме дороговизны равняется соотношению их телесного веса и веса буханки хлеба. Дело это всегда серьезное, если объем мозга во сто крат меньше объема брюха.

И господа венские советники, голосовавшие против предложенного проекта, действовали в силу определенного принципа. Коли я христианский социалист, то рассуждаю следующим образом: «Дороговизна растет на сем грешном свете, и чем больше неприятностей переносит обыкновенный смертный здесь, тем большее блаженство ожидает его в мире ином. Там о дороговизне он уже ничего не услышит».

Выходит, дабы через страдания сделать райское блаженство более доступным широким слоям народа, они сами где только возможно способствуют росту дороговизны.

В этом вопросе между крупным капиталом христианским и иудейским наблюдается полная терпимость.

* Христианские социалисты — члены клерикальной христианско-социалистической партии, возникшей в Чехии в 1864 г.

** Социал-демократическая партия возникла в 1878 г. как революционная партия чешского пролетариата; в конце XIX— начале XX века в партии усилились оппортунистические элементы, что привело ее к политическому банкротству и распаду.

И если бы в Чехии нашлись капиталисты-мусульмане, одним конкурентом в деле повышения цен у нас было бы больше.

Сегодня приобретешь вещь втридорога, а назавтра не нарадуешься, что по сравнению с новыми ценами купил все же по дешевке.

Да еще всюду натыкаешься на такие объявления: «Цены на мясо снова снижены»; «Мука снова подешевела»; «Продаю в убыток» и так далее.

И при этих-то обстоятельствах во всех партиях объявляются ученые головы, которые с присущей им изысканностью дают советы, как прожить невзирая на всеобщую дороговизну, чем заменить одежду, цены на которую поднимаются не по дням, а по часам, как обойтись без обычного топлива и подешевле приготовить пищу и обогреться, как добыть освещение.

Повсюду растут проявления недовольства и громоздятся груды советов весьма сомнительного свойства.

Всеобщей дороговизной и нищетой можно воспользоваться, дабы потуже набить деньгами карманы.

На богачах не разживешься.

Объявляются современные братья Гракхи, только они не сзывают народ на собрания триб*, зато собирают подписи на набережной Франтишека.

Право, уже давно пора организовать издание нового юмористического журнала «Для дома, для семьи».

Заодно и снижению дороговизны на пользу пойдет.

Пошлете пану Кочиму две кроны и обеспечите ежедневный обед для шести несчастных за 50 геллеров; кроме того, получите бесплатно журнал «Чешское домоводство», каждый сотый подписант — живого телка, каждый тысячный — если в его семье не более чем шестеро — пожизненный абонемент на обеды.

Итак, женщины, пусть не беспокоит вас происходящее в общественной жизни, получайте себе «Чешское домоводство»,

* Триба — в Древнем Риме — территориальный и избирательный округ, имевший один голос в трибутных комициях. (В середине 3 в. до н. э. насчитывалось 35 триб.)

прочтите фельетон «О фартуке» и забудьте о вашем социальном движении.

Посредством чтения «Чешского домоводства» вам откроется новое поле деятельности.

Рост дороговизны — это социальный вопрос. И этот вопрос решается не с помощью парламента, где его следовало бы разрешить, а на набережной Франтишека.

Государство обязано нормализовать экономические отношения. Однако оно почему-то всегда с этим запаздывает...

Помощь должна исходить от корпораций, которые реально представляют слои трудового народа и людей среднего достатка, то есть тех, кто на самом деле испытывает трудности, связанные с ростом дороговизны.

Именно эти объединения и союзы выступят против крупного капитала всех разновидностей и мастей.

«Женски обзор» — № 3, 1908

Мнемотехника

Учащемуся средней школы, не знающему исторических дат, в жизни приходится скверно, как растению без воды.

Он похож на потерпевший крушение корабль, как верно подметил однажды учитель истории на своем уроке, когда его ученик Ехунтал оказался бессилён припомнить две важные даты: годы правления династии Валуа во Франции и время войны за французское наследство.

Ехунтал избрал путь некоей исторической лотереи. Он перебирал числа и, стоя у кафедры учителя, пытался уловить какое-нибудь столетие, посланное ему милосердными одноклассниками.

Но все было тщетно. Как он ни думал, ни гадал, годы правления Валуа от него ускользали.

Учитель Шетелик, видя, что Ехунтал совершенно бессмысленно то сокращает, то продлевает сроки борьбы за французское наследство, посадил его на место, влепив «неуд», и

произнес вышеозначенные достопамятные слова: «Как растению, чахнущему без воды, так и ученику средних классов приходится скверно, коли он не знает исторических дат...»

В своей прочувствованной речи учитель Шетелик предупреждал учеников об опасностях, которые таит пропасть невежества. Неужели так трудно запомнить даты, если с помощью мнемотехники можно играючи заучить чуть ли не двадцатизначные числа? Да, да, да, мнемотехника, искусство запоминания, раскроет вам тайны исторических дат. Главное — вжиться в них, разложить на элементы, а потом эти элементы складывать, и таким образом все даты до единой удержатся в памяти.

— Возьмем такой пример, — сказал учитель. — Клучина, с какого по какой год правили в Англии последние Плантагенеты? Ага, не знаете! Что ж, ставлю вам «неуд», садитесь.

Уж эти годы правления!

О чем бы я ни спросил, во что бы ни ткнул пальцем — все едино. А все потому, что вы не умеете учить даты. Между тем это очень просто. Итак, я читаю учебник и узнаю, что последними в династии Плантагенетов в Англии были Эдуард I, II, III и Ричард II и что правили они с 1272 по 1399 год*. Чтобы запомнить дату 1272, я отмечу про себя: двенадцать и семьдесят два. Что же здесь наблюдается? 12, 72 — всюду присутствует двойка. Две двойки, причем перед первой двойкой единица, а перед второй — семерка. Учитываю это обстоятельство и запоминаю: один, два — как они идут в системе арабского счета. Значит, я закрепил в уме тысячелетие и столетие, а потом вспоминаю, что единица плюс шесть единиц равняется семи, то есть мне известно теперь и десятилетие; теперь мне остается эту вспомогательную цифру (шесть) разделить на три, то есть на сумму первых двух чисел $1+2$, и я получу двойку. Разобравшись, обдумываю результат, и теперь разве что дьявольское наваждение заставит меня забыть дату 1272. Можно рассуждать и иначе: как и в первом случае, отделю 12 и 72. Всем видно, что написано на доске? Итак, $12+72$. Теперь сложу единицу с двойкой, получу тройку и произведу умножение. 3 умножу на

* Автором допущены некоторые неточности в датах. (Прим. ред.)

12, получу 36; 36, умноженное на 2, дает мне 72, то есть опять у меня получится число 1272, и мне уже по гроб жизни не забыть, что последние Плантагенеты правили начиная с тысяча двести семьдесят второго года. Теперь, как запомнить окончание их правления? Читаю и вижу: год 1399. Читаю и прихожу в восторг! Нет ничего легче, как запомнить год 1399. Спроси меня, и я даже на смертном одре тотчас вспомню.

Смотрите и слушайте внимательно. Мне известно, что ни в каком ином тысячелетии, кроме второго, окончить свое правление они не могли. Трижды три — это девять. Остается не забыть про вторую девятку — и готово.

Разумеется, я могу поступить другим способом: разлагаю цифру 1399 на $13 + 99$. Отмечаю про себя: 13 — это несчастливое число, значит: несчастливое число $+ 99$. А 99 — это сотня без единички. Запоминаю: 100 и 1, эту единицу надо отнять. И вот, соединив все, точно держу в памяти, что династия кончила править в 1399 году. Существуют еще и другие, совсем уже несложные системы запоминания. Вот, например, Ехунтал не мог сообразить, что династия Валуа правила во Франции с 1328 по 1498 год. Сознать это было мучительно и мне, и ему самому, грустно будет и его родителям, которых он так опозорил. Будь я на его месте, я бы легко запомнил дату 1328.

В каком году вы родились, Ехунтал?

— В 1893-м, 15 марта.

— Ну вот, смотрите. Отбросьте от 1893 года, года своего рождения, 500 лет, останется 1393, выходит, цифру 13 вы уже получили, ну а 28 вычислите следующим образом: вы родились 15 марта, то есть в третьем месяце года. Возьмем цифру 5 и цифру 3 (третий месяц года), сложим и получим 8, остается лишь дообразовать недостающую двойку. Нет ничего проще. Пятнадцатое марта можно представить себе как $1 + 5 = 6$, третий месяц, шесть разделим на три, двойка в кармане. Вы помните, что последовательность чисел такова: двойка находится перед восьмеркой, моментально выстраиваем 28, перед 28 найденные прежде 13, и вам, Ехунтал, до самой смерти не забыть, что род Валуа царствовал во Франции начиная с 1328 года...

На следующий урок истории пришла инспекция — сам директор. Он задавал ученикам те же вопросы. Обращаясь к Земану, директор поставил вопрос так:

— Ваш батюшка держит на углу лавку, где торгуют углем... гм... ну так с какого года начал свое правление во Франции род Валуа?

— Простите, пожалуйста, я забыл, когда появился на свет Ехунтал, в каком месяце то есть, но я точно знаю, что род Валуа правил во Франции за пятьсот лет до рождения Ехунтала...

«Народни обзор» — 3.10.1908

Борьба с домоправителями

Моя неприязнь к домоправителям на самом деле просто необъяснима. Что они, виноваты, если ворота домов положено запирать в вечерние часы, а люди, задержавшиеся сверх урочного времени, обязаны платить им за беспокойство?

Запираеть двери на засов — это не что иное, как ограничивать личную свободу человека, решил я, анализируя причины своей неприязни, и я злюсь на домовладельцев как на исполнителей этого беззакония, словно они сами такое дело выдумали. Впрочем, я, что называется, «дитя эпохи» (какое остроумное определение, к сожалению, у кого-то позаимствованное), зачатое во грехе собственными родителями, которые так сильно, особенно в новогодние праздники, ненавидели хозяев, что я, достойный их потомок, дал себе слово повсюду вести борьбу с этими ключниками, борьбу, в которой кто-то из нас потерпит поражение, и этот «кто-то» должны быть те, кто, шаркая ногами, освещая ворота зажженной свечкой, с ворчаньем открывает ночью вход в дом.

Дворника, или домоправителя, моего прежнего обиталища я старался по мере возможности щадить и, будучи великодушным, щадил, поскольку он был так добр, что оставлял двери открытыми на целую ночь, ибо, как правило, уже к шести вечера напивался в стельку, валился в постель и как убитый спал до утра.

Возвращаясь домой глубокой ночью, я всегда находил ворота открытыми.

Хозяин наш был благородной души человек. Однажды позвал он меня к себе и сказал: «Знаете, уважаемый, дворник наш весьма нерадив, да я извиняю это его возрастом. Вообще-то я давно бы прогнал мерзавца со службы, не будь он моим «согрудником».

Слово «согрудник» я слышал впервые и потому переспросил:

— Простите, кем?

— Это вот что означает,— пояснил мне хозяин.— Может, вам пригодится когда, очень трогательная история. Маменька моя была очень слабой, и ей пришлось отдать меня кормилице. Ну согласитесь, разве это не годится для рассказа? Вот и случилось, что мать нашего нынешнего дворника вскармливала грудью и его, и меня вместе с ним. Вот и выходит, что он мой «согрудник». У меня сердце разорвалось бы от жалости, если бы я собственноручно выгнал его за небрежное отношение к работе. О вас, уважаемый, я наслышан, вы поздно возвращаетесь домой. Не соблагovolите ли оказать мне такую любезность, не запрете ли за собой двери на засов, чтобы дом хоть несколько часов побыл на запоре. В котором часу вы обычно возвращаетесь?

— В третьем часу ночи,— ответил я.

— Ну вот и славно, вот и хорошо,— обрадовался хозяин,— это вполне, вполне годится. Я никогда не слышал, чтобы воры забирались в дом раньше двух ночи. Впрочем, нам опасаться нечего, у меня самого в доме квартирует один такой разбойник, но осторожность не повредит. Вот вам ключ, уважаемый, даю его вам безвозмездно. Как вы на это посмотрите?

— Хозяин,— с достоинством возразил я,— вы заявили, что один разбойник уже поселился у вас в доме. Хорошо, я сегодня же съеду с квартиры.

— Позвольте,— рассмеялся хозяин,— этот разбойник, собственно, уже не вор, он аккуратно платит за квартиру. Это, так сказать, вор в отставке, на пенсии, а нынче работает сыщиком.

— Бывший беглец от сыщиков в роли сыщика,— оскорбленно заявил я,— нет, я решительно отказываюсь от квартиры,

даже не смотря на то, что вы оскорбили меня предложением запереть за собой двери в два часа ночи вместо вашего «согрудника». Я не позволю себя оскорблять.

Ох, до чего же я гордый! Недаром в моих жилах течет дворянская кровь. По крайней мере я так считаю с тех пор, как, следуя примеру одного шляхтича, остался должен за сигары.

Так я упустил из рук реальную возможность бесплатно получить ключ от дома и, собственно, самому стать домовладельцем.

Я съехал с этой квартиры. Мое новое пристанище, собственно, был барак; тут домоправителем служил тучный парень, оскорбивший мои чувства уже при первом столкновении.

Прежде всего мне не понравилось его хамство. Он был до того невежлив, что утром, когда я возвращался от одной вдовы, взявшей меня на содержание, он дерзко остановил меня в коридоре и спросил, куда это я направляюсь.

— Во-первых, вам до этого нет никакого дела,— заявил я.— Это неприлично, но чтобы вам доказать, что я порядочный человек...

— Я здешний домоправитель,— прервал он меня.

— А я порядочный человек,— не дал я сбить себя с толку,— поэтому отвечаю, что я столююсь здесь неподалеку.

— А у кого, осмелюсь спросить?— насмешливо поинтересовался толстенный дворник.

— У пани Радловой,— ответил я.

— А, к этой всегда шляются такие...— буркнул дворник.

— Какие это — такие?— раздраженно переспросил я.

— Ну такие вот, такие — и все тут,— невозмутимо ответил дворник.

Ну, парень, погоди, решил я, идя в свою новую обитель; как видно, я тебе не показался; но не воображай, что ты полюбился мне. Ты с первого взгляда возбудил у меня отвращение. Война объявлена, и я принимаю вызов.

Перво-наперво я изучил распорядок дня в доме, особенно обстоятельно вызубрил § 19, гласивший: «В период с 1 апреля до конца октября двери дома отпираются в 5 часов утра и

запираются в 10 часов вечера; с первого ноября по конец марта — открыто с 6 утра до 9 вечера».

«Ага, нынче пятое апреля,— сказал я себе,— посмотрим, насколько точно придерживается дворник своего распорядка и запирает ли он дом в десять часов».

Против обыкновения, я уже без пятнадцати десять был дома и, к своему ужасу, обнаружил, что дом заперт.

Взбешенный, я несколько раз нажал кнопку звонка. За запертыми дверями послышалось шлепанье домашних туфель, в щелях засветились кружочки света, в замке прогромел ключ, и двери дома распахнулись.

За дверями стоял дворник с протянутой рукой. С каким наслаждением я вдарил бы по этой протянутой за оплатой руке! Но овладел собой и прошел мимо.

Толстяк запер двери и, шлепая за мной следом, проговорил:

— У молодого человека сегодня нет пяти геллеров*?

Я молча шагал по коридору. За моей спиной слышалось шлепанье туфель, и звук, раздававшийся в тиши коридора, словно вторил: «Пять, пять, пять».

Внезапно остановившись, дворник поставил подсвечник на пол и спросил:

— Молодой человек немой, что ли?

Не удастая его ответом, я шагнул из коридора на ступеньку лестницы, но все еще слышал, как он кричит:

— Молодой человек, вы должны мне пять геллеров, это низко — так поступать.

Я усмехнулся его наивности. Этот тип полагает, что можно запереть дом, когда ему заблагорассудится, чтобы легче обирать жильцов. Это что же, закон о том, что с 1 апреля до конца октября двери открыты до десяти вечера,— ему не указ? Ну, посмотрим.

На следующий день, снова без пятнадцати десять, я в ярости позвонил домой. Шлепанье туфель, грохот ключа в замке.

Дворник стоял у дверей; подставив ладонь, он проговорил:

* Геллер — мелкая чешская монета. Пять геллеров — оплата, причитавшаяся дворнику за услуги.

— Считаю вчерашние — с вас шестаки*, молодой человек. Я пренебрег этим указанием и молча шел к своей комнате.
— Не стройте из себя шута, молодой человек,— кричал он мне вслед.— Вы должны мне шестаки!

Наивный человек!

На третий день повторилось то же самое. Дворник приветствовал меня словами:

— С вас уже пятнадцать крейцеров, сударь.

Разумеется, я промолчал. Он больше не называл меня «молодым человеком». Ограничился простым «сударь», вкладывая в интонацию, с которой произносил его, все свое презрение ко мне. Впервые в жизни я услышал слово «гусь», прозвучавшее за моей спиной и обращенное в мой адрес.

Так повторялось изо дня в день целую неделю. Когда он произнес: «Включая сегодняшние, с вас тридцать пять крейцеров», я отметил, что он похудел вдвое.

— Когда это кончится, сударь?— кричал он мне в этот день, а я поднялся на свою лестницу.— Вы что, хотите, чтобы я спятил с ума? Или вы из молодых да ранний?

Я молчал по-прежнему. Молчал уже две недели, изо дня в день регулярно звоня без четверти десять.

— Семьдесят крейцеров, дрянь вы этакая!— завопил дворник на четырнадцатый день.— Семьдесят крейцеров! Когда вы отдадите семьдесят крейцеров?!

Теперь он вопил в кромешной тьме, потому как, убедившись уже на третий день, что я направляюсь домой, тут же гасил свечку, явно теша себя надеждой, что в темноте я расшибу голову, споткнувшись о ступеньку.

Мое гробовое молчание помаленьку приводило его в полное отчаяние.

Спустя три недели, когда он открывал дверь в привычное время, протянутая рука его тряслась, а голос как-то странно дрожал.

— Это потому, что за вами золотой и пять крейцеров,

* Шестаки, крейцер, золотой — более крупные, чем геллер, монеты, имевшие хождение в Австро-Венгрии; достоинство их было различным в разные эпохи.

сударь,— проговорил он, запирая дом.— Что вы на это скажете?

Я не сказал ничего. Молча, как и прежде, прошагал домой. За мной следом по лестнице пронеслись сдерживаемые вздохи и голос: «Это вам стоит золотой и пять крейцеров». Это уже не был крик вызова, а некий отчаянный вопль во тьме, мольба о милости, голос, умоляющий меня вернуть человеку душевный покой, ответить, чтоб ему, собственно, стало ясно, в каком состоянии его дело.

В последний день апреля он, с опаской открывая мне дверь, тихо проговорил:

— С вас сто двадцать пять крейцеров, или один золотой и тридцать крейцеров.

Он запер двери и, приготовившись задуть свечу, добавил несмело:

— Завтра у нас первое?

Свечу он так и не задул, так и стоял с открытым ртом, поскольку я бросил ему в ответ:

— Да, первого мы сочтемся.

Опомнившись, дворник произнес:

— Это хорошо, молодой человек.

И пошел меня провожать — так и дошел с зажженной свечкой до третьего этажа.

— Завтра сочтемся,— повторил он доверительно, остановившись у дверей моей комнаты.

— Да, да, завтра,— с усмешкой подтвердил я.

Было слышно, как весело он насвистывает, спускаясь по лестнице.

Я встретил его уже утром. Вероятно, от радости он не спал целую ночь, потому что под глазами у него залегли темные круги.

— Мое почтенье, молодой человек! Значит, сегодня!— напомнил он.

— Да, сегодня.

«Сегодня» я вернулся домой в третьем часу ночи. На мой звонок живехонько примчался наш дворник.

Я вынул из кармана двадцать геллеров.

— Вот вам за ваши услуги,— спокойно произнес я.

— А-а,— рассмеялся ничего не подозревающий дворник, запирая ворота,— кроме того, за вами остается еще золотой и тридцать крейцеров.

— Пойдемте-ка со мной,— тоже усмехаясь, проговорил я.

Пройдя коридор до конца, мы остановились в том месте, где в рамке висел распорядок жизни дома, и я попросил дворника осветить мне.

Ни о чем не догадываясь, он оказал мне такую любезность, и я сказал:

— А теперь посмотрите, что написано в конце девятнадцатого параграфа устава. Читайте... За отпирание ворот после полуночи взимается плата десять крейцеров. По какому же праву вы требуете от меня сейчас золотой и сорок крейцеров?

— С пятого апреля и до конца месяца я открывал вам ежедневно без четверти десять. Вы остались должны мне золотой и тридцать крейцеров, но вчера посулили, что с этим будет покончено.

— Вот я и заканчиваю,— невозмутимо парировал я.— Прочтите только, что стоит в начале параграфа девятнадцать. Ах, понимаю, у вас недостает для этого сил. Тогда я прочту его сам. «С первого апреля по конец октября подъезд дома запирается после десяти часов вечера». А вы, сударь, незаконно запирали вход в дом после девяти часов. Вы нарушили устав, за соблюдение которого несете ответственность. Вы тут установили террор, сударь. А я вам ничего не должен и ничего не заплачу.

Свеча выпала из рук дворника. Положив руку на сердце, он с воплем «Жена! Дети!» упал на лестницу. Его хватил кондрат.

Поскольку в доме пошли разговоры, что в его смерти повинен я, мне пришлось перебраться в другое место.

Домоправитель этого трехэтажного дома оказался человеком весьма приличным, он сразу же учтиво обратился ко мне со словами: «Приветствую вас, милостивый государь».

Одевался он тоже весьма прилично, что всегда производит приятное впечатление. Не носил, как прочие, шапку, не расхаживал в грязных брюках, которые тотчас вызывают у меня отвращение к владельцу, не шлепал целыми днями домашними

туфлями, как другие, не ходил с пьяной рожей, не стоял, как многие из его собратьев, перед домом, когда слуга привез на тележке все мое имущество, состоявшее из одного чемодана и груды газет.

Как я уже говорил, он произвел на меня весьма приятное впечатление. Приятное впечатление укрепилось после того, как он однажды утром встретил меня и сообщил: «Я служил в Боснии, милостивый государь».

У меня есть привычка: в мае возвращаться домой под утро; я поступаю так из того соображения, что у меня — поэтическая душа и раннее майское утро всегда способствует рождению поэтического вдохновения.

Итак, в мае этого года я возвращался домой на заре, и однажды, придя уже в половине шестого, убедился, что дом заперт.

Я позвонил и, увидев сонного дворника, невозмутимо прошествовал дальше, хотя в душе посетовал, что и он обманул мои ожидания. Ведь дом должен открываться в пять часов утра.

— Не заплачу ни геллера,— сказал я, обращаясь к нему,— вы, как я вижу, проспали и не открыли дверь вовремя.

— Отпираем с шести, милостивый государь,— ответил дворник.

— Мы это еще проверим,— возмутился я,— а для чего же тогда нужны уставы дома?

— У нас никакого устава нету,— возразил дворник,— у нас живет вполне пристойная публика.

— Только домоправитель непристойный,— отпарировал я, окидывая его строгим взглядом.— Как же вы отваживаетесь отпирать двери, если не одеты? Ведь на вас — одни подштанники и рубаха. Вы слышали, что означает такое понятие, как целомудренность? Если бы я был девушкой, вы представляете, как бы я покраснел? Но ваш вид оскорбляет и меня, высококонравственного человека, понимаете вы это?

— Десять крейцеров! — рявкнул мне вслед дворник.

— Никогда! — бросил я ему.— Никогда не заплачу вам десять крейцеров, поскольку вы не стыдитесь открывать двери в таком виде. Мне жаль, но я в вас разочаровался.

Пройдя к себе, я лег, но долго не мог уснуть. Значит, у них, ко всему прочему, нет даже устава дома. Ладно! Раз так, я могу делать что мне заблагорассудится. Приходить когда вздумается, не платить за услуги, могу шуметь, свистеть, могу писать каракули на стенах, щипать лучину в кухне, обивать штукатурку в коридоре; много чего я мог бы себе еще позволить!

Я возвращался домой в полночь и за полночь, ничего не платя; поднимаясь по лестнице, пел и насвистывал, на стенах писал стихи; пригласил одного знакомого рисовальщика, и тот нарисовал углем на стене в коридоре фигуру дворника в исподнем.

Наконец в наши отношения вмешалась дворничиха. Случилось это так: вернувшись около трех утра, я, к ужасу своему, обнаружил, что дверь мне открывает его жена. В нижней юбке, держа в одной руке огромный ключ, а в другой — маленькую керосиновую лампу, она выглядела страшно.

— Я ничего не боюсь, не на таковскую напали,— обрушилась она на меня, стоило мне переступить порог,— для этого у вас руки коротки, разбойник вы этакий; еще раз говорю, у моего мужа подагра после всего этого, он простыл, пока вас тут выслушивал.

Много чего еще высказала она мне.

С женщинами я принципиально не веду борьбу и потому я молчал.

— С сегодняшнего дня двери открывать буду я,— сипела она за моей спиной,— и выскажу вам еще больше, и каждый раз буду что-нибудь говорить.

Я предпочел уехать из этого дома. «Отчего?— вопрошал я сам себя.— Оттого, что ненависть моя распространяется на одних только домоправителей, а не на их жен»,— говорил я себе в утешенье.

Главным пунктом в моей борьбе против этих субъектов было выискивание способов сокращения их неоправданных доходов, поэтому я подыскал себе квартиру с ключом от дома.

Хозяйка оказалась очень славной; передавая мне ключ, она спросила:

— У вас, наверное, ночная служба?

— Ну да,— бесхитростно ответил я,— скверно, когда трактиры закрывают уже в два часа ночи.

Такое блаженство — чувствовать себя хозяином целого дома, имея ключ в кармане! С какой гордостью, возвращаясь домой, я заранее вынимал его, с наслаждением всовывал в дверной замок и прислушивался, как пружина поворачивается со звуком «руп-руп».

Дворник, где ты! Тю-тю! И не нужен мне ты!

Однажды утром, когда я крепко спал, поздно возвратившись после ночных бдений, сон мой разогнали чьи-то голоса и шум в коридоре. Ко мне постучали, и, открыв, я увидел перед собой полицейского.

— Пардон,— извинился он,— у вас все на месте, не украли ничего?

— Как это украли?— удивленно спросил я.

— Ночью кто-то оставил ключ в дверях, и вор проник в дом. Обокрали канцеляриста с третьего этажа, а у домоправителя стащили перину.

— Господи, твоя воля!— радостно воскликнул я.— И домоправителя обокрали?

— Ну да.

Не ставалось сомнений, что тем, кто ночью оставил ключ в замке, являлся я. Так и есть. Ключ как провалился. Его не было ни в пиджаке, ни в жилете, одним словом — нигде.

Ни у кого в целом доме не было ключа, кроме как у меня. Мне отказали от квартиры, зато я испытал удовлетворение оттого, что судьба избрала меня орудием возмездия.

У дворников стащили перину! Само провидение мстило им за меня.

Квартиру я подыскал себе на Виноградах. Замечательную. С видом на сады. Наверное, здесь предполагали основать квартал вилл.

Выходя из дома, нужно было пересечь дворик возле палисадника; дворик ограждала стена, и именно в стене помещались домовые ворота.

Домоправителю, чтобы открыть доступ в дом, сперва нужно

было отпереть двери во дворик, потом пересечь его и открыть ворота, ведущие на улицу.

Как я уже сказал, здесь, вероятно, планировали устроить квартал вилл, поскольку все дома походили один на другой как две капли воды — чаще всего они были трехэтажные с внутренним двориком и воротами, пробитыми в окружающей дворик ограде. Душа у меня солдатская. Снимая квартиру, я заметил этот дворик и ворота. «Превосходно! — мысленно воскликнул я. — Здесь, если воротиться поздно, дворнику не придется платить ни крэйцера!»

Так вот. Сперва позвонишь. Звонок — в ограде. Перемахнешь через нее, спрячешься в углу дворика, вон под тем кустом, а когда домоправитель пойдет через дворик к воротам, ты проскользнешь в дверь дома, на лестницу и — домой. Кроме всего прочего, это романтично, а то ведь теперь мало-помалу получает распространение голая проза без романтики.

Первый опыт прошел блестяще. Я позвонил, перемахнул через ограду, укрылся за темным кустом, а тем временем домоправитель отпер дверь в коридор и пошел по дворнику — отпирать ворота. Ничего не подозревая. Я неслышно выбрался из чащи кустов, один прыжок, гибкий, кошачий — и я очутился в коридоре. Тихонько прокрался по лестнице и, только когда бесшумно отпер двери в свою комнату, расслышал, как чертыхается дворник — дескать, какой-то негодяй шутки ради позвонил и убежал.

Трижды я повторял свою проделку — и всегда с полным успехом. Домоправитель сыпал проклятьями, мигмом распахивал ворота, выбегая на середину улицы, высматривая, кто же звонил.

Я уже проделывал всю операцию совершенно механически. Как-то, возвращаясь домой в радужном настроении, я по привычке нажал звонок, перемахнул через ограду и помчался укрыться в кусты. И окаменел от ужаса. Кустов нигде не было. Я преодолел ограду чужого дома.

Что же теперь? Не успел я собраться с мыслями, как двери, ведущие во дворик, распахнулись и в них выросла фигура дворника.

Я обратился в бегство. Дворник — за мной. Я взобрался было на ограду, но он стащил меня обратно на вымощенный плитами пол дворика и, навалившись на меня всей тяжестью своего тела, кричал изо всех сил: «Помогите! Помогите!»

Тут подоспел патруль, и все выяснилось. Этот сукин сын чужой дворник еще требовал, чтобы я заплатил ему двадцать геллеров за услуги.

Ну, и как мои дела нынче? Нынче я еду за город, туда, где нет домоправителей, в тихое маленькое селение, где намерен лишь разрабатывать основы международного товарищества борьбы против домоправителей или проще — дворников.

«Весела Прага» — 1.12.1908

Практикант Жемла

Как только Ян Жемла устроился на государственную службу, самым страстным желанием его стало угодить пану президенту.

Талантливому молодому человеку нелегко выдвинуться на государственной службе. Нечего и удивляться — практикант Жемла с ужасом сознавал, что до сих пор не смог расположить к себе пана президента.

Разумеется, Ян Жемла хотел быть полезным и отечеству, которое обеспечивало его шестьюдесятью двумя кронами в месяц.

Так миновали два года, и до звания действительного практиканта было уже рукой подать. Пройдет еще два года, и его повысят. Правда, жалованья ему положат только пятьдесят крон в месяц, то есть на двенадцать крон меньше, чем «недействительному» практиканту, зато присвоят звание «действительного» практиканта, что и обеспечит ему, при условии добропорядочного поведения, надежду на постоянное место. Очередные пять лет он прослужит действительным практикантом, и тогда уже пред ним распахнутся врата рая. Он принесет присягу! Присягнет и станет верой и правдой служить действительным практикантом первой ступени под присягой.

Следующие три года пролетят незаметно. За это время он дослужится до действительного практиканта первой ступени под присягой с правом на кварталный отпуск. В течение последующих двух лет его сделают реальным претендентом, кандидатом на место действительного претендента.

Потом он достигнет как раз того возраста, когда у нормального человека начинают разрушаться зубы мудрости.

Потом... тут его фантазия разыгралась. В мечтах он беспрепятственно пробегал все ступени должностной иерархии.

— Пан Жемла,— обратился к нему официал* Макула,— вы только и делаете, что смотрите в потолок. Все смотрите и смотрите, будто вы пан президент.

В этот день практикант Жемла сделал первую запись в своей черной книге: «Официал Макула высказался о пане президенте в том смысле, будто он только и делает, что в потолок смотрит».

Неплохая это была идея, насчет черной книги. Хотя Жемла был терпелив, он все-таки не закрывал глаза на существование иных путей к получению звания действительного претендента с правом на кварталный отпуск.

Именно в тот день, когда Ян Жемла размышлял о строптивом нраве подчиненных, в его добродетельной душе родилась мыслишка учредить черную книгу, книгу о грехах служебного персонала, книгу, в которую будут занесены все дурные дела, поступки и помышления его сослуживцев, унижающие пана президента, благодетеля самого Жемлы и всех тех, кто вероломно уклоняется от превознесения своего кормильца.

Там будет написано про всех. И на практикантов, и на посылных, на претендентов, действительных и недействительных, помощников — на всех чиновников будут заведены в черной книге особые графы.

Никогда еще практикант Жемла не брался за работу с таким тщанием, с каким принялся он разграфлять свою черную книгу.

* Мелкий чиновник.

И внес, как уже было сказано выше, первую заметку, которая гласила:

И м я: Официал Макула.

Д а т а: 14 марта.

П р о в и н о с т ь: говорил о пане президенте, будто тот ничего не делает, кроме как смотрит в потолок.

Какое впечатление это произвело на остальных служащих? Скверное, все смеялись, не смеялся только недействительный практикант Ян Жемла.

«Погоди, друг Макула! — думал Жемла. — Достанется тебе за то, что сам куришь, а мне при всех запрещаешь».

В черной книге росли и радовали глаз новые записи, проливавшие свет на неутешительное состояние служебной дисциплины:

«Действительный практикант с правом квартального отпуска Юрайда 21 марта выразился так: от этого просто спятить можно. Все согласились, один Жемла вышел в коридор».

«Посыльный Карас 21 марта бормотал вполголоса: здесь только ослам работать. Если бы его слышали остальные, это оказало бы плохое влияние, и многие рассмеялись бы. Практикант Жемла, однако, сделал посыльному Карасу замечание: вы ведь еще не в штате — думайте, что говорите».

«22 марта претендент Клучина сказал: пан президент — олух. Все согласились, только практикант Жемла ничего не говорил и делал свое дело».

«В тот же день старший официал Геллер непочтительно отозвался о супруге пана президента: видел эту кикимору в машине с нашим стариканом. Тот был бы счастлив, если бы шофер угодил с машиной в какой-нибудь омут. Он с шофером потом наверняка бы спасся. Это произвело ужасное впечатление на пана Жемлу, все еще нештатного практиканта. Больше всех смеялись посыльный Билек и письмоводитель Бинер. Чиновник Макула сказал: перестаньте — у меня уж нет сил смеяться».

«23 марта. Состоялся разговор между практикантами Кандером и Шебой. Шеба во всеуслышанье произнес несколько слов, которые дискредитировали всю служебную систему. Это

было так ужасно, что все еще нештатный практикант Ян Жемла заткнул себе уши, лишь бы не слышать следующих слов: в государственном учреждении начальники из человека все соки выжмут, прежде чем тот своей цели достигнет. «Вы совершенно правы,— отозвался практикант Кандер,— здесь только и умеют, что извлекать из человека выгоду, в то время как сами — ослы». При этих словах практикант Ян Жемла кашлянул и произнес: «Как здесь жарко!» На что оба громко ответили: «А все же пана президента следовало бы хорошенько взгреть».

«24 марта. Сегодня практикант Жемла рассорился с одним сослуживцем. Это всего-навсего посыльный, имеющий двоих детей, он даже не в штате, а все-таки позволил себе высказаться: «Пан президент думает, будто знает обо всем на свете, а сам — дурак дураком. Послал меня сегодня за пражскими колбасками, а того не понял, что я принес колбасу от Карабца». Когда же нештатный практикант Жемла поинтересовался, что значит слово «Карабец», ему было сказано, что это роскошная гастрономическая колбасная лавка, где торгуют кониной. Чтобы не слышать взрыва всеобщего хохота, Ян Жемла немедленно вышел из канцелярии. Из-за двери он еще различил, что больше всех потешался помощник Клазар, воскликнувший: «Так и не раскусил, бедняга, чем полдничал!»

«25 марта. Официал Пешка отпуская скверные остроты по адресу пана президента, передразнивая его жесты и голос. Он смешно кривлялся и приговаривал: «Э-э-э, моя быть tüchtig* и работать как черт». При этих словах разразилось всеобщее веселье, в котором нештатный практикант Жемла участия не принимал, потому что в тот день, как и во все другие, прилежно и терпеливо занимался своим делом, чтобы поспеть все сделать вовремя и не иметь «задолженностей» по службе, каковые имеются у некоторых господ этого отдела, приходящих на службу прямо из ночных кабаков и других мест, где наверняка приличного слова не услышишь».

«26 марта. Сегодня к нам в канцелярию пришел старший официал Куделка из пятой комнаты и громко сказал нашему

* Прилежная (нем.).

старшему, да так, чтобы все слышали: «Все-таки это правда! Пан президент содержит эту барышню. Вчера я с ними случайно встретился, когда они садились в коляску. Если пойдут слухи — быть скандалу. Я им понимающе улыбнулся...»

На следующий день практикант Жемла оставил свою черную книгу в канцелярии пана президента...

Спустя два часа из канцелярии пана президента позвонили:

— Пана Жемлу к пану президенту!

Обрадованный Жемла побежал, еле переводя дыхание. Наконец-то! Вот они — награда, повышение.

— Пан Жемла! — обратился к нему президент. — У вас тут все очень мило, голубчик, даже вот это, последнее! Вот, значит, чем вы занимаетесь в рабочее время! Стало быть, государственная служба не для вас. А тут все очень мило, даже это, последнее! Да, дружище, подпортили вы себе карьеру. Писать этакое вместо служебных бумаг! Больше вы здесь не служите.

«Гумористицке листы» — 18.06.1909

Из жизни Карела Брода

В ту пору, когда налоговая деятельность министра финансов переживала свой расцвет, Карел Брод влюбился. И так как увлечение было нешуточное, Брод заявил о нем в соответствующие инстанции. После чего был внесен налоговой инспекцией в список влюбленных. Со свойственной для официальных бумаг точностью по первым числам каждого месяца ему стал приходить счет на уплату любовного налога. Поскольку его занесли во второй разряд любовников, то Карел Брод выплачивал каждый месяц всего по две кроны налога, получая взамен бумагу, предъявив которую не подлежал задержанию, даже если полиция застигала его в обществе подруги.

Потом Брод обручился со своей милой. Чиновник составил протокол и повысил налог. Вместе с официальной бумагой Брод получил металлический жетон на шею, в соответствии с законом от 30 сентября 1921 года.

Поскольку этот же закон требовал уведомления соответствующей инстанции о всякого рода торжествах на предмет налогообложения, Карел Брод написал, что по случаю помолвки такого-то числа устраивает обед, участникам которого будет подано браницкое пиво, мацешковские вареные колбаски и т. п. Программу приема требовалось изложить до мельчайших подробностей, дабы налоговая инспекция, прежде чем выдать на него разрешение, могла установить соответствующую таксу. Впоследствии на каждом банкете присутствовал финансовый инспектор с целью проверки, не совершено ли недозволенное отступление от сделанного заявления.

Подошел день свадьбы. Влюбленные были зарегистрированы сначала в костеле, затем — в налоговой инспекции.

Сумма свадебного налога — он назначался в зависимости от размера приданого и красоты невесты — составила для супругов Брод 732 кроны 27 геллеров.

На уплату налогов, считая со времени знакомства молодых людей до дня свадьбы, ушла большая часть жениного приданого.

Карел Брод ходил как помешанный. Каждый божий день клял министра, придумавшего эти налоги. Почти сожалел, что не остался холостяком, поскольку налоги с холостяков были почти на треть меньше.

Только теперь он осознал весь ужас будущей супружеской жизни. Ненасытная государственная казна требовала уплаты налога с первой брачной ночи, с рождения каждого ребенка, с появления у него первого зуба и т. д. и т. п.

Жаловаться было некому и некуда. Депутаты, с коих поборы взимались в уменьшенном размере, не осмеливались протестовать против новых финансовых тягот из страха лишиться этого преимущества. Стоит опоздать с уплатой — финансовый экзекутор тут как тут, да такой дошлый, что сразу призовет тебя к порядку.

С головой у Карела Брода становилось все хуже и хуже, и об этом можно судить, например, по тому, что, даже внося налог со смерти тещи, он нисколько не радовался.

Поскольку Карел Брод был человеком покладистым, беско-

нечная выплата налогов оказалась для него роковой.

Постоянные выплаты налогов истерзали его, разбили семейное счастье, о котором он столько мечтал.

В конце концов Карел Брод угодил в сумасшедший дом. По странному стечению обстоятельств, его палата оказалась по соседству с палатой бывшего министра финансов, инициатора введения налогов на холостяков, любовников и супругов.

«Карикатуры»—22.07.1909

В Нейбурге

(Из рассказов бродяги)

Я познакомился с ним в прусском городе Нейбурге. Его фамилия была Кулиговский, родом он был откуда-то из Познанского воеводства. Оба мы пришли в городской муниципалитет просить вспомоществования на дорогу. Кулиговский сидел на скамье в коридоре ратуши и, увидев меня, со вздохом проговорил:

— Ну что за жизнь, приятель, а?

— Какая уж есть,— ответил я и осведомился, пускают ли уже за ордером на ночлег.

— Скоро пустят, проверят удостоверение личности и пустят.

Из караулки полицейского участка, помещавшегося в конце коридора, доносились тирольские напевы.

— Они там веселятся,— заметил Кулиговский,— ведь сегодня воскресенье, там пьют, едят, как все люди на белом свете в этот день, а мы вот ждем.

Из кармана заплатанного пиджака он вынул огрызок сигары, сунул его в рот, начал жевать и продолжал:

— Вот так скитаемся по свету и смотрим... Эх! Никогда человеку не хватает настоящей мудрости.— Он пожал плечами и сплюнул.— Богатые, бедные, все едино, после смерти все там будем, все равные и все вместе.

К примеру, по дороге на небо ты повстречаешь человека, который во время твоих скитаний отказал тебе в милостыне, и вдруг поймешь, что ваши пути расходятся, ты летишь,плы-

вешь наверх, а он — вниз. Ты на небо, а он в пекло. Наш приходский священник говаривал так: «Глупцы, большей вони и смрада, чем в пекле, нигде нет, а потому живите достойно». Вот видишь, не хотел человек подать милостыню бедному путнику, а нынче мучается в адском чаду. Порою я в странствиях своих так размышляю, братец: что, если бы у меня были деньги? Если бы у меня были деньги, тогда бы я путника, думаю, понимал и помогал бы ему. Встретил бы меня странник, бродяга, и попросил о помощи. Я бы ему сказал: «Вот тебе золотой, поешь и выпей за мое здоровье». Да еще и сам бы его угостил. А как поступаю тут? Дадут десять пфеннигов, и ты не знаешь, нужно ли отдать девять сдачи. А то еще спросят: «У вас мелочь есть?»—«Нет, милостивая пани».—«Тогда оставьте себе все десять пфеннигов».

Ох, нелегко набрать здесь эти пфенниги на питье и пропитание. Правда, еду кое-где и получишь, но здешние крестьяне считают, что предлагают тебе бог весть какое лакомство, и все время тебя спрашивают: 'Schmek't's, du, sacradi?*'—'Schmek't',— отвечаешь. Немного погодя хозяйка к тебе подойдет, такая толстая, зобастая и опять спрашивает: 'Schmek't's, du, sacradi?'—'Schmek't's, frau',— отвечаешь.

А когда ты наешься — шутки ради, наверное, или чтобы лучше переварилась пища,— натравят на тебя пса, вот ты и носишься по двору, а он за тобой. Пнешь его, а хозяин с работником вышвырнут тебя, а то и поколотят. Вот такие люди после смерти будут мучиться в адском чаду.— Поглаживая седую бороду и прищулив глаза, Кулиговский добавил:— Вот так оно и будет, расплачиваться придется за каждый дурной взгляд, за каждый удар, тысячи лет грешник будет корчиться в расплавленном свинце и сере. Ну, пойдем, пора.

В приемной сидели вахмистр с полицейским; оба они пели:

*Я и мой отец
Мой отец и я
Мой отец прохвост
А я тоже негодяй*

* Вкусно, ты, проклятый? (испорч. нем.)

— Прохвосты! — гаркнул полицейский вахмистр пьяным голосом, когда мы вошли. — Чего шляетесь по свету, не сидитесь вам на одном месте, вот как мне?

Он хотел подняться со стула, но ноги ему отказали, и он решил, что лучше не вставать — перед бродягами надо выглядеть солидно, — и, осторожно раскачиваясь на стуле, чтобы не упасть, выкрикнул:

— Вы что, цыгане? Таскаетесь из города в город, заарестовать вас, подать сюда документы, а не то сядете у меня... И это документы?! Сам черт тут ногу сломит, мерзавцы... Леопольд! — обратился он к полицейскому, который жевал редьку. — Проверь-ка документы! Если не разберешься — давай их в кутузку. Даже в воскресенье нет от них покоя. Не дают отдохнуть. Ну как документы, Леопольд, в порядке?

— В порядке, пан вахмистр!

— Ваше счастье, мерзавцы, что документы у вас выправлены, как следует быть. Вот вам ордера. Леопольд, выдай каждому по ордеру. Пойдете на постоянный двор «У победоносного баварца», это за мостом, направо, получите там тарелку супа, по куску хлеба, кружку пива и ночлег, утром не полагается ничего. Ах, подлецы, посадить вас лучше, чем кормить. А ну, марш отсюда, прохвосты бродячие!

Мы вышли из приемной. Леопольд последовал за нами.

— Ребята, — спросил он в коридоре, — далеко ли ваш дом?

— Ох, далече, далеко.

— Я тоже шел как-то из Мюнхена в Ржезно, — протяжным голосом сказал Леопольд. — По дороге тоже побирался, тяжкая это доля. Вот вам полмарки, больше не могу...

Он дал нам пятьдесят пфеннигов и вернулся в ратушу.

Вокруг нас кипела жизнь воскресного полдня. Мимо проходили оживленные люди, из гостиницы доносились пение и веселые возгласы.

Мы шли молча, каждый по-своему тосковал в атмосфере ликованья беззаботных людей.

Когда мы подошли к мосту, Кулиговский сказал:

— Вот ведь, одному — страданье, а другому радость. А в

конце концов? Умрет, закопают, помолятся у гроба, и дай тебе боже вечный покой... Как ты думаешь, бог и убийца прощает?

— Прощает.

Кулиговский молча смотрел с моста в воду.

— Как думаешь, сколько мне лет?— спросил он.

— Шестьдесят.

— Пятьдесят, парень, пятьдесят, а за эти годы я столько перенес, столько! Кто-то говорит: судьба! Мы сами готовим свою судьбу, поверь мне, сами.

Перейдя мост, мы уселись у реки на траве.

— Судьба,— заговорил Кулиговский, показывая на реку.— Вон рыба! Рыба тоже уготовляет себе судьбу своей прожорливостью. Схватит, проглотит червячка — и уже болтается на крючке. Так и человек. Все жадность.

Солнце садилось, и окна нейбургского замка вспыхнули красным заревом.

— Садится,— вздохнул Кулиговский,— еще один день прошел, а взойдет оно, снова наступит такой же вот горький безысходный день, так же покатыт дни, недели, месяцы и годы, а потом свалюсь где-нибудь на дороге, помру и закопают меня в землю.

— Что же, может, поискать работу?— предложил я.

Он покачал головой:

— Есть у меня дума, и ей подчиняются мои ноги, они сами влекут меня в путь... Идем ужинать!

Мы хлебали похлебку, но Кулиговский вдруг положил ложку на стол и сказал:

— Вот бы теперь польского борща — это похлебка такая с капустой. Ох и хорошо дома!.. Село, где понимаешь все, о чем говорят вокруг, ведь на твоем родном языке говорят... А домой я не смею вернуться. Около нашего села рощица с лиственницами, а здесь разве их встретишь, нет их нигде...

Мы съели суп, выпили пиво, после чего вошел трактирщик, толстый баварец, и предупредил нас:

— Утром за ужин и за ночлег будете два часа колоть дрова, колоть исправно.

— Колоть дрова,— вскричал Кулиговский, когда хозяин

ушел,— боже, что за испытанье ты мне посылаешь!

— А у тебя что, неостанет сил дров наколоть?

— Сил-то достанет, но взять топор в руки, боже милостивый...

Пошли мы спать наверх, на сеновал, Кулиговский долго молился.

К нам наверх пришла большая черная кошка. Села в изголовье и замурлыкала, в темноте глаза у нее светились, словно угольки.

— По душе ей бродячий люд,— заметил лежавший на сене Кулиговский.— Довольна и мурлыкает. Говорят, будто колдуньи в черных кошек оборачиваются. Не верил я ничему, а теперь, к старости, поверил, всему верю.

Утром нас проводили во двор, где были приготовлены дрова, которые мы должны были наколоть.

Около чурбана стояли два блестящих топора, на которых играли, переливаясь, лучи утреннего солнца.

Кулиговский смотрел, как я, взяв топор в руки, приготовился работать.

И вдруг затрясся всем телом.

— Бери топор, колй, Кулиговский!

— Не могу,— всхлипнул он и зарыдал.— Не могу! Ах, господи, до чего же он блестит...

— Не блажи, Кулиговский.

— Я не блажу, друг, не могу я заставить себя топор в руки взять... Таким вот топором двадцать лет назад я зарубил свою жену Штефку...

Он плакал, бил себя в грудь и рассказывал:

— С моим братом она спуталась. Утро было солнечное, топор вот так же блестел. Ну, этим топором я ее и... Рассек ей голову. Грешник я... Потрудишься за меня, бог тебе оплатит. Пятнадцать лет отбыл в заключении. А пять скитаюсь по свету. Кой-чего видишь. Это она и есть — та дума, что не дает моим ногам покоя.

Он плакал, а я колол за него дрова. Часа за три работа была сделана, и мы ушли.

- Куда нынче, Кулиговский?
- В Аугсбург, а ты?
- Я на Ингольштадт и Ржезно.

Мы вместе дошли до перекрестка, а там дороги наши разошлись.

— Спасибо тебе за дрова,— сказал Кулиговский, протягивая мне руку.— Добрый ты, другой бы меня поднял на смех. Счастливого тебе пути, а если случится — доберись к морю, там есть на что посмотреть. У Свинемюнде на таких маленьких лошадаках ездят, и лошадки бегают в море.

— Прощай, Кулиговский, счастливого пути!

Я зашагал по дороге и вдруг услышал, что кто-то зовет меня. Это Кулиговский бежал за мной.

— Вот тебе двадцать пять пфеннигов,— сказал он,— мы ведь получили вчера пятьдесят, и я взял их себе. Чуть было не забыли про них. А с этим топором я разыграл тебя, просто я не люблю работать.

Он подал мне двадцать пять пфеннигов и ушел в направлении Аугсбурга по бесконечно длинной дороге, вившейся среди скучных полей, таких же безрадостных, как его жизнь,— ведь он не любил работать.

«Летем светом»—1.04.1910

Пан Непреклонный

В компании обсуждался вопрос о том, как пленять женщин и каким образом, из чего, собственно, рождается верная любовь. Шутили насчет того, что женщины — существа особые, да и мужчины — тоже. Разбирались всевозможные проблемы супружеской жизни, обдумывались различные точки зрения, а поскольку мне было известно происшествие с паном Непреклонным, я вспомнил о нем.

Проезжая по маршруту № 6 из Смихова в Прагу через мост Палацкого, пан Непреклонный переживал счастливейшие минуты своей жизни.

Приближаясь к первой после моста Палацкого остановке,

там, где взимали налог за провозимые продукты*, он всегда испытывал величайшее волнение. Он наслаждался, наблюдая, как суетятся пассажиры, пытаясь спрятать, затолкать узлы и чемоданы под лавку, меж тем как сборщик продовольственного налога, тигром вскочив в вагон, бросался к ним с вопросом: «Что у вас подлежит налогообложению?»

Пан Непреклонный кое-что примечал, но пока помалкивал. Но это молчание все-таки угнетало и мучило его. Сколько раз он наблюдал, как дамы прикрывают своими юбками сумку с провизией. Или мужчин, прячущих под пальто две бутылки вина.

Частенько ему доводилось видеть, что дамы, укрывшие провизию под плащом или накидкой, становятся похожими на плотно набитое чучело и очень нервничают при появлении сборщика налогов.

«Экие змеи»,— думал про себя пан Непреклонный. Он был слишком честен, чтобы спокойно констатировать факты бессовестного обмана государства, и однажды, будучи выведен из себя, поступил так, как ему велели долг и совесть и чувство справедливости.

Как всегда, он ехал в трамвае номер шесть из Смихова в Прагу и там приметил барышню, которая длинной своей юбкой прикрыла сумку. Предумышленно выпустив из рук монетку в два геллера, он заглянул под лавку. Из сумки печально свешивалась голова куренка. Кстати говоря, барышней, решившейся на обман государства, оказалась девица Матулова. Ларчик открывался просто.

Месяц назад пан Непреклонный пристал к ней на улице, набиваясь в провозатые. Он помнил девушку по какой-то вечеринке, где был ей представлен, и узнал, что она обозвала его старым сумасшедшим старикашкой. В тот раз она отвергла его, не разрешив себя проводить. А теперь эта гадючка намерена бесплатно провезти куренка!

— Кто подлежит обложению?— вопрошал сборщик продналога, испытующим взглядом сверля пассажиров.

* В Австро-Венгрии взималась особая пошлина с продуктов питания и предметов обихода, а также с провизии, доставляемой крестьянами в закрытые города (Прага, Брно и т.д.).

Взгляд его впивался человеку в душу, так что он, даже не имея ничего, что подлежало бы налогообложению, невольно ощущал на себе бремя ответственности, некое чувство вины, и ему прямо-таки не терпелось признаться: «Простите, но у меня нет ничего-ничегошеньки, за что нужно платить налог, уж вы простите меня, бога ради, и не сердитесь!»

— Кому платить, с кого налог?— монотонно бубнил сборщик, ощупывая сверток, лежавший на коленях какой-то дамы, разумеется, совершенно безгрешно, со всей целомудренностью.

Пан Непреклонный злорадствовал, наблюдая, в каком волнении пребывает барышня, когда сборщик, ощупав еще какого-то господина, невозмутимо приблизился к ней,— так палач приближается к осужденному на казнь, намереваясь спросить самым приятным манером: «Что изволите передать вашей вдове?»

Пройдя мимо девицы, сборщик собирался уже удалиться, но тут вдруг поднялся пан Непреклонный и, обратясь к нему, произнес:

— Загляните, пожалуйста, этой даме под юбку!

Сборщик так и поступил, обнаружив и сумку, и куренка.

— Исполняйте свой долг!— добродушно повелел господин Непреклонный, и сборщику оставалось только пригласить барышню выйти, прихватив с собой вещи.

Багровая от стыда, барышня Матулова последовала за представителем закона; замыкая шествие, шел господин Непреклонный, объясняя всем направо и налево:

— Иду свидетелем.

— Пожалуйте в контору,— пригласил сборщик барышню. В конторе в присутствии господина Непреклонного на нее составили протокол.

Барышня сбивчиво оправдывалась тем, что, дескать, не имела понятия, нужно ли платить налог еще и за куренка.

— А теперь вот будете знать!— твердил пан Непреклонный.

Барышня ударилась в слезы. «Ревн теперь,— думал пан Непреклонный,— горюй, причитай, ничто тебе не поможет, камень и то смягчился бы, а уж мы тебя проучим!»

Попросив слова, он повторил, что донес, исходя из искрен-

него убеждения в своей правоте, что он уже на Смихове, на остановке «У ангела», приметил, как эта дама старалась спрятать свою сумку с куренком.

Барышню обложили штрафом в пять крон; штраф этот она заплатить не могла, и вместо нее пять крон уплатил пан Непреклонный, признавшись, что дама эта ему хорошо знакома. Барышня не хотела принимать от него такой услуги, но делать было нечего. Пан Непреклонный уплатил штраф, не приметив, что чиновники в раздумье покачивают головой.

Потом пан Непреклонный объявил барышне, что через некоторое время он зайдет к ней за этими пятью кронами, и победно удалился в полном убеждении, что совершил все, что образцовому гражданину повелевает исполнить его гражданский долг, во-первых, и его обостренное чувство кавалерского достоинства — во-вторых.

Дня через два пан Непреклонный навестил барышню Матулову, дабы позволить ей вернуть долг, а три месяца спустя они поженились. И я убежден, что если у них родится сын, пан Непреклонный предложит и его обложить продовольственным налогом...

После этого заявления меня выкинули из трактира.

«Карикатуры» — 3.10.1910

Таинственное послание

Несколько дней назад на набережной, у Рудольфинума*, на ступенях лестницы, ведущей к реке, в третьем часу ночи я нашел цилиндр, а в нем — записку такого содержания:

«В канцелярии стало известно, что я сочинил пьесу. Глава отдела, старший советник Базилиш, вызвал меня к себе в десятом часу утра и вел себя непривычно добродушно.

— Ну кто бы мог подумать, — удивлялся он, — что вы этакая штучка! И вдруг — на тебе, ни с того ни с сего узнаю, что

* Комплекс зданий, где размещается большой концертный зал Праги. Построен в XVIII веке.

вы — талант, я бы даже сказал — мастер на все руки. Оказывается, вы наладили счетную машинку, починили канцелярские часы и, наконец, во внеурочное время написали пьесу. Несколько лет назад служил у нас один такой же вот умелец. Тоже чинил часы, писал стихи и даже изобрел какой-то особый музыкальный инструмент. К сожалению, последнее изобретение испортило ему карьеру, поскольку он этот свой инструмент принес в канцелярию, где происходила ревизия, и вздумал поиграть на нем — да так, что окна задрожали. Возраста он был вашего, тоже еще не был в штате, ну, дирекция и дала ему понять, что ему лучше всего было бы освободить занимаемое место. Вы, всезнайки, занятные таки люди. На все руки мастера, все-то вам известно, а частенько бывает невдомек, что значит употребить свои знания в подходящем месте и в нужный момент. Однако к чему теперь разбирать ваши поступки, да и недосуг; сегодня мне бы хотелось — поскольку вы талант, все умеете и все вам ведомо — поговорить с вами об одном деликатном обстоятельстве. Моя золовка, супруга имперского советника Гаранта, приобрела себе щенка, овчарку шотландской породы. Пес умен необыкновенно, понятливый, ласковый такой, но есть у него один недостаток — знаете, он нечистоплотен. Вот тут-то и заключается деликатность этого случая. Золовка моя, стало быть, обратилась ко мне с просьбой обучить ее песика чистоплотности. На улице пес этот ведет себя очень деликатно, видно, у него перепутались понятия. Тесть объясняет это психологическими перегрузками у животного. Однако к чему заниматься психологией этого пса, когда факты говорят сами за себя, и говорят страшную правду. Мягко выражаясь, песик принимает ковер за мостовую и устраивает в комнате беспорядок, свинство. Вы понимаете, что задача, возложенная на меня моей золовкой, выше моих сил, поскольку я перегружен делами по службе настолько, что у меня не остается времени обучать чистоплотности доверенного моим попечениям песика. Я — старший в семье, ко мне идут родственники советоваться в самых щекотливых случаях, я охотно дам совет, помогу, растолкую, но в вопросе, деликатно выражаясь, нечистоплотности я беспомощен. И тут я вспомнил о вас, кото-

рый умеет все. Вы молоды, жизнь распахнута перед вами, вы полны энергии, сочиняете пьески, починаете счетные машины и настенные часы, и я прошу вас: возьмите на себя заботы об этом щенке, научите его опрятности, воспитайте из него приличную собаку, втолкуйте ему, чем ковер отличается от мостовой, как различить тумбу и угол шкафа, в общем — перевоспитайте собаку, молодой человек. Моя служанка приведет ее к вам после обеда. Песик такой умненький, такой привязчивый, он вам понравится.

Итак, в тот же день к вечеру это чудовище доставили мне на дом. Нет слов, чтобы описать, как этот щенок себя вел и чего только не натворил в ближайшие четверть часа. Хозяйка моя чуть не спятила и сказала, чтобы все это я прибирал сам, и, видно, у нее возникло большое желание вышвырнуть на улицу нас обоих.

Я вывел эту нечисть наружу и водил его по городу больше двух часов. Я заглядывал всюду, во все места, где встречаются собаки. Он же ничем не давал себя обмануть — ни действием, ни взглядом. И все-таки я останавливался, уговаривал его, шлепал, приводил разные достойные подражания примеры: «Вот видишь, песик, что значит поступать благоразумно! Посмотри, как поднимает ножку эта мохнатая кроха!»

Прохожие останавливались, хохотали, а я в растерянности, подбирая слова поприличней, объяснял каждому, в чем состоят мои затруднения с этим песиком.

— Чего же вы добиваетесь, ведь он все сделал дома, и нечего теперь терзать его, таская по улицам,— сказал мне какой-то мужчина.

В общем, он был совершенно прав.

— Ткните его в это носом,— посоветовала мне одна женщина.

Вокруг меня образовалась толпа, так что не обошлось без полицейского, который поинтересовался, что произошло.

Я и полицейскому в приличных и деликатных выражениях объяснил, что должен обучить пса чистоплотности.

— Это ваше личное дело,— заметил он,— и нечего собирать вокруг себя людей. Разойдитесь, господа!

Полицейский был абсолютно прав.

Политикой тут и не пахло.

Я поволок пса домой, ослабляя поводок, чтоб он мог держаться вольнее. Коварный пес удовлетворился обнюхиванием тумб, не произведя ни намека на действие, которого я страстно ожидал.

Правда, время от времени пес садился на землю и удовлетворенно оглядывался вокруг своими умненькими глазками — точь-в-точь как на трогательной картине «Пес у могилы своего хозяина».

Присаживался он, однако, абсолютно платонически, только остроконечные ушки ставил торчком.

Наша умопомрачительная одиссея продолжалась еще часа два, причем я постарался тремя сосисками возместить щенку все, что он вывалил у меня дома; в этом пункте системы воспитания молодой шотландской овчарки я намеревался быть последовательным.

Увещевания, однако, ничему не помогли, зато, когда я отпирал дверь своей квартиры, глаза его сияли от счастья. Он в нетерпении наскакивал на дверь, оглушительным лаем разбудив весь дом, и уже с порога начал удовлетворять свои естественные нужды в полном убеждении, что эти действия и являются единственно верными, поскольку на людях пес обязан быть опрятным.

Совершив все, что замыслил, пес доверчиво растянулся у моих ног, удовлетворенно вертя толстым хвостом и облизываясь на радостях...

Меня охватило отчаянье. Хватило бы одной пули... Ведь я обманул доверие своего шефа. Завтра придет «Зеленый Антон»*, и не видать мне штатной должности...»

Здесь послание обрывалось.

Перечитав записку вместе с подоспевшим полицейским, мы поняли, какая существует связь между неопрятным щенком, цилиндром и водами Влтавы.

«Гумористицке листы»—23.12.1910

* Полицейская машина.

Почетный диплом

Войтех Релих, судейский чиновник в отставке, получил почетный диплом Министерства общественных работ. Релих был страшно удивлен: он не мог припомнить за собой никаких заслуг перед этим министерством. Вот уже пять лет как он удалился на покой, но и в бытность свою письмоводителем местного суда не проявил себя ничем особенным: переписывал приговоры, вел списки, подшивал бумаги в папки судебных дел, выписывал счета — вот и все. На службу Релих приходил в половине девятого, в двенадцать шел обедать в ресторацию Голуба, в половине третьего снова заглядывал в канцелярию, а в шестом часу отправлялся на прогулку. Выдавалось у него и еще немало приятных минут роздыха, когда он мирно покуривал трубку или, высунувшись в окно, поглядывал на то, что делается внизу, на оживленной базарной площади.

В конце рабочего дня Релих забегал в распивочную выпить рюмку вина и потолковать о куропатках и охотничьих собаках. Такой образ жизни очень нравился Релиху, и, выйдя на пенсию, он не раз с удовольствием вспоминал свое прежнее житье-бытье. И вдруг ни с того ни с сего на него свалился почетный диплом Министерства общественных работ! Сам градоначальник вызвал Релиха к себе, вручил ему это отличие и, как полагается, поздравил, с улыбкой отведя возражения старика, уверявшего, что он не заслужил такого внимания.

И вот Релих принес диплом домой, выпроводил из комнаты старую служанку, заперся, закурил трубку и принялся размышлять о превратностях службы.

Почетный диплом, безусловно, предназначался другому Войтеху Релиху, но что поделаешь? Градоначальник всучил диплом ему, не слушая никаких возражений.

А что, собственно, означали слова градоначальника о том, что некое влиятельное лицо способствовало награждению Релиха? И за что ему такая награда? Ведь он и гулял в положенное для занятий время, и курил трубку, и работал спустя рукава; в общем, если строго рассудить, то, пожалуй, выйдет, что он, собственно говоря, обкрадывал казну. Да он делал это

и в прямом смысле: свои личные письма посылал в конвертах со штемпелем «Служебное. Без оплаты».

Релих лег на диван, но и тут не нашел себе покоя и все ворочался с боку на бок. В пять часов к нему явился советник юстиции Гейданек. Релих, в халате, пошел отворять и от изумления чуть не прищемил дверью советнику нос.

— Пришел поздравить вас с наградой,— приветливо начал советник.— Сейчас я уже могу вам открыться: ведь я ходатайствовал в Вене о вашем награждении. Это вам за прилежную службу, за ваше трудолюбие! Ведь я не забыл, что вы были моим усерднейшим подчиненным. На вас, на ваших плечах лежали все хозяйственные дела нашего суда, вы, можно сказать, держали в руках все нити. Вы совершенно бескорыстно изыскали источники дешевого снабжения тюремной кухни...

Релих вздохнул.

— Вы старались беречь казенные средства!— продолжал советник юстиции.— Вы делали все, что должен делать примерный чиновник. Книги вы вели образцово. Все это происходило под моим наблюдением, я был вашим начальником, мои предначертания, мои благие намерения претворялись в жизнь благодаря вашему усердию и старанию. Вы были примером для всех остальных. Присутственные часы вы соблюдали с точностью, которая делает честь всей вашей служебной деятельности.

Релих снова вздохнул.

— Жму вашу руку,— закончил советник,— и радуюсь, от души радуюсь, что благодаря моему ходатайству вам наконец воздано должное. Вы заслужили этот диплом своей скромностью, своими добродетелями, своим высокопохвальным стремлением всегда выполнять свой служебный долг. Все это не могло остаться без поощрения, и я счастлив, что именно я ходатайствовал где следует о том, чтобы ваши заслуги не остались без награды.

В дверь постучали, и в комнату вошли старые сослуживцы Релиха — столоначальник Бултерин и письмоводитель Кутель-вассер.

Столоначальник заговорил вкрадчивым голосом, обращаясь

к Релиху на «ты» и называя его «милый старый друг»:

— Мы узнали в управе о награде, которой тебя удостоило Министерство общественных работ, старый друг! А помнишь, как мы сиживали в одной канцелярии, ты, я и Кутельвассер, и радовались, что работа идет у нас так дружно. Помнишь, как господин советник заходил, бывало, и говорил нам, чтобы мы пожалели себя, но мы с еще большим рвением отдавались работе. Да, мой дорогой старый друг, это были незабываемые минуты. Мы и понятия не имели, что такое безделье! А сколько раз мы, бывало, засиживались в присутствии, лишь бы знать, что все дела у нас в ажуре. Случалось, мы даже не уходили на обед, а все корпели над бумагами, тешились работой, не правда ли, милый старый друг? Так мы и жили, ты, я и Кутельвассер, жили дружной семьей. Поэтому нас особенно радует, что твои заслуги не забыты. Я догадываюсь, что не кто другой, как наш уважаемый господин советник, замолвил за тебя словечко перед высшим начальством, что он... м-м... не забудет и нас, своих верных сотрудников, которые для него... впрочем, воздержимся от изъясления чувств. Твои заслуги признаны, милый старый друг, твоя скромность вознаграждена. Покажи же нам этот почетный диплом.

Релих взял со стола скатанный в трубку лист, развернул и передал друзьям.

— Вот. Я его даже еще не разворачивал.

Все подошли ближе и прочли затейливо выведенный крупными буквами немецкий заголовок:

«Господину Войтеху Рейлиху
за его заслуги...»

А ниже среди росчерков, завитушек и стилизованных двуглавых австрийских орлов терялись мелкие строчки:

«...по устройству на международной охотничьей выставке в Вене специальной экспозиции, способствовавшей привлечению иностранных туристов в Буковину».

— Вот видите,— уныло сказал Релих опешившим поздравителям.— Так я и знал, что эта чепуховина предназначена не мне... Не мне...— повторил он через минуту, не замечая, что советник и сослуживцы потихоньку улизнули.

Несколько дней спустя Релих и советник сидели за одним столиком в трактире Голуба. Оба долго молчали, и только часа через два советник наклонился к Релиху и сказал отечески:

— А знаете, я сразу подумал, что этот почетный диплом попал к вам по ошибке. Помните, как я однажды застал вас с Кутельвассером, когда вы в присутственные часы резались в карты?..

«Карикатуры» — 13.02.1911

Безбилетный пассажир

Управление имперско-королевских государственных железных дорог всегда оставляет за собой право на возмещение понесенных убытков, каковые взыскиваются со всей строгостью закона.

Хорошим примером служит происшествие на линии Ржичаны—Прага. Однажды (это случилось на станции Угржиневес), как раз в тот момент, когда утренний поезд уже тронулся, в вагон под номером 16862 вошел ничем не примечательный гражданин. Спустя некоторое время старый, поседевший на железнодорожной службе проводник, пересчитав всех пассажиров, установил, что в вагоне № 16862 их 35.

События развивались трагически. Перед станцией Гостиварж проводник пришел собирать билеты, и тут оказалось, что в вагоне всего 34 пассажира. Будучи убежден, что кто-нибудь наверняка скрылся в уборной, проводник учинил основательный досмотр и действительно обнаружил в уборной человека, который на требование предъявить билет заявил, что сделать этого не может, поскольку прибежал на станцию Угржиневес, когда привокзальная касса уже была закрыта.

Предписания не оставляют на этот счет никаких сомнений. Если с кем-либо случается нечто подобное, он обязан заявить об этом проводнику вагона, в противном случае проезд без билета расценивается как мошенничество.

Провинившийся пытался оправдаться — он, дескать, так бы и поступил, если бы у него неожиданно не разболелся кишечник,

или, говоря попросту, живот и ему не пришлось срочно бежать в уборную.

Однако проводник обнаружил его именно в уборной и усмотрел в этом намерение обмануть уважаемую казну на 50 геллеров. То есть на стоимость билета от Угржиневес до Праги.

— В Гостиварже разберемся,— сухо отвечивал проводник; и впрямь, когда поезд прибыл в Гостиварж, в вагоне появился начальник станции и пригласил безбилетного пассажира проследовать за ним в канцелярию.

Поезд ушел, и безбилетник был подвергнут обстоятельному допросу в присутствии приглашенного жандарма, который, напустив на себя строгость, повторял: «Вы очень пожалеете об этом, уверяю вас!»

Безбилетник настаивал на своих показаниях, твердя, что не будет платить 5 крон штрафа (десятикратная стоимость билета за 50 геллеров), и держался как человек, убежденный в своей невинности, чем произвел неблагоприятное впечатление, в особенности на жандарма, который, записывая что-то в свою красную записную книжку, саркастически уточнил: «Так вы, значит, на глазах у пана кондуктора спрятались в уборную, чтобы проехать до Праги зайцем?»

Безбилетный пассажир стоял на своем, повторяя, что у него не было времени сообщить проводнику о случившемся, что привокзальная касса была уже закрыта, что поезд тронулся, едва он успел в него вскочить, что он сразу принялся распрашивать попутчиков, где уборная и как туда пройти, и божился, что, не схвати у него живот, он сам сказал бы кондуктору и о том, что касса закрыта, и о том, что билета нет, более того, сам бы попросил проводника выдать дополнительный билет. Никакого штрафа задержанный платить не хотел, отказался заплатить даже 50 геллеров за проезд от Угржиневес до Праги, так как не доехал до Праги две остановки. Показывал даже, что деньги у него есть, и больше, чем требуется, так что он мог бы заплатить штраф, если бы признавал за собой вину; в конце концов он решительно заявил, что оплатит только проезд от Угржиневес до Гостиваржа. Тогда жандарм отвел его в полицейское отделение, где был составлен протокол, а несколько

позже соответствующая бумага была послана в суд.

Государственная прокуратура ухватилась за это дело мертвой хваткой и возбудила против безбилетного пассажира дело о мошенничестве. Управление императорско-королевских государственных железных дорог тоже не поленилось и отписало по этому поводу в Вену, в главное управление железных дорог, приложив к делу выписку из протокола допроса проводника вагона № 16862, а также протоколы, составленные начальниками станций в Гостиварже и Угржиневес.

Главное управление дорог в Вене подало в министерство железных дорог официальную бумагу по поводу происшествия с просьбой разрешить пражскому управлению учредить комиссию по расследованию этого дела, дабы на основании заключения этой комиссии безбилетник мог быть приговорен к штрафу в 5 крон или, в крайнем случае, к возмещению 50 геллеров, то есть той суммы, которой он действительно лишил управление государственных железных дорог. В министерстве железных дорог на ходатайство главного венского управления была наложена резолюция, предписывавшая пражскому управлению приложить все усилия к тому, чтобы принудить безбилетника заплатить компенсацию в размере 50 геллеров за билет от Угржиневес до Праги, она же одобрила создание соответствующей комиссии.

Затем в суде состоялось разбирательство дела по обвинению безбилетника в мошенничестве.

Поскольку тот по-прежнему ссылался на расстройство желудка, то суд признал объяснения соответствующими действительности и оправдал ответчика. Таким образом, управление железных дорог дело проиграло, однако общественный обвинитель обжаловал оправдательный приговор. Представитель железнодорожной казны также возразил против этого решения и предложил комиссии обследовать место происшествия, а именно уборную.

Финансовое отделение пражского управления не откладывая оповестило об этом проекте президиум главного управления в Вене, который после совещания с начальником в министерстве железных дорог дал согласие на то, чтобы была

собрана комиссия, имеющая целью выяснить, мог ли безбилетный пассажир добраться из Куржи до Ржичан за то время, которое он указывает, и прийти на вокзал в Угржиневес с тем опозданием, на какое он ссылается; кроме того, было принято решение организовать еще одну комиссию, которая изучила бы, соответствует ли истине утверждение обвиняемого о том, что, когда перед станцией Гостиварж кондуктор открыл дверь уборной, где находился обвиняемый, все дела были уже сделаны, и в этом случае кондуктор говорит неправду, утверждая, что мужчина без билета залез в сортир без великой нужды и что невозможно за столь короткое время сделать все то, о чем говорил безбилетник с попутчиками раньше, до того как побежал в уборную.

22 июня обе комиссии были созданы, а 28 августа представили результаты расследования порученного дела.

Каждая комиссия состояла из 25 уполномоченных следователей и трех советников из строительного ведомства.

В целом работа комиссии обошлась в 2866 крон, а заключение экспертизы, согласно обстоятельному рассмотрению означенного ходатайства, сводилось к тому; что безбилетный пассажир за указанное время мог добежать до привокзальной кассы еще до ее закрытия, чтобы купить там билет стоимостью 50 геллеров на проезд до Праги, и что совершенно исключено — это члены комиссии проверили самолично, — чтобы за столь короткое время, что безбилетный пассажир провел в уборной вагона 16862, он смог сделать все свои дела, и что, следовательно, все это лишь отговорки с единственной целью — обмануть государство на 50 геллеров.

На слушании апелляции приговор, оправдывавший безбилетного пассажира, был утвержден апелляционной коллегией, а дело об иске в 50 геллеров, предъявляемом государственной дорогой, было перенесено в программу заседаний по делам гражданского права.

Управлению имперско-королевских государственных железных дорог это стоило в общей сложности 3678 крон 69 геллеров, нам же это стоит нового повышения проездного тарифа.

«Карикатуры» — 13.03.1911

Ответ Виноградской ратуши по поводу происходящего в районе

Дорогая редакция!

В последнее время члены совета Виноградского и вся Виноградская ратуша подвергались непристойной критике некоторых газет. Мои коллеги обратились ко мне с просьбой обстоятельно проанализировать и объяснить суть дел, имевших у нас место, и аргументировать тяжкое положение, в котором оказалось наше управление, и опровергнуть целый ряд надуманных обвинений.

Прежде всего обратимся к истории старушки Графнеровой. На меня была возложена нелегкая обязанность разобраться и обдумать ее просьбу о помещении в дом престарелых. Факты таковы, уважаемая редакция, что Графнерова отродясь со мной на улице не здоровалась и не говорила: «Целую ручки». Она утверждает, будто со мной незнакома, хотя я известен всему Виноградскому району. У нее не достало такта обратиться с просьбой к моей многоуважаемой супруге, дабы через нее при моем содействии получить место в виноградской богадельне. Я не тщеславен, но знаю, что приличия требуют, чтобы мне на Виноградах выражали надлежащее почтение. Графнерова была настолько бестактна, что не обошла всех членов городского совета и даже, чтоб этого избежать, подстроила себе ревматизм, но ничем больше не захворала. Как я подчеркнул на заседании, где разбиралось ее заявление о приеме в дом, наши богоугодные заведения для того и предназначены, чтобы наши граждане, немощные, неработоспособные, нашли там полное обеспечение. В случае Графнеровой этого не произошло, поскольку она ничем не хворала. Районный врач выдал справку, что она совершенно здорова, поскольку страдает лишь от приступов ревматизма, от воспаления почек, от камней в желчном пузыре, от катара желудка, от сердечной недостаточности и тому подобных пустяков, так что я имел полное право заявить, что Графнерова здорова как бык.

Что до возраста, то ей нет еще и 88 лет. 88 лет исполнится ей только в апреле, и в эти свои лета, как справедливо под-

метил пан Билек, она еще способна выполнять такие нетрудные работы, как, например, укладывать кирпичи и свозить строительные материалы. А главное, уважаемая редакция, она не проходила по условию полной безупречности, поскольку шестьдесят девять лет назад не уплатила штраф размером в один шайн серебра, поскольку о штрафе ей не сообщили на квартиру. Уважаемая редакция, как быть, не знаю, только мне постоянно слышатся вокруг голоса хулящих меня людей. На улице мне мерещится, будто всякий встречный меня бранит и поносит самыми страшными ругательствами. Оглянусь — нет никого. Да, чтобы закончить, мы приняли решение не принимать Графнерову в дом призрения по финансовым соображениям, поскольку в противном случае мы вышли бы из бюджета на 132 кроны.

В связи с этим опишу, кстати, состояние виноградского дома престарелых. Нам ставили в упрек, что там сыро, по стенам произрастают грибы и это, дескать, плохо для здоровья. Наш врач изучил содержание жалобы и установил, что местоположение нашей богадельни самое благоприятное с точки зрения климатических условий. Свежий, здоровый воздух пронизывает ее, так что там чувствуешь себя, будто в лесу. И пусть вас не удивляет, что там произрастают грибы. В коридоре бьет родничок прямо из-под земли. Поэтому в ваннах для престарелых нет надобности. Для того чтобы ни один из престарелых не утопился в богадельне, городской совет на средства добровольного общества помощи престарелым огородил перилами озерцо, возникшее в коридоре дома призрения.

А как раз те господа, что более всех возмущались непорядками в доме, ни единым крейцером не поспособствовали установлению загородки.

Далее: нас упрекали, что в богадельне плохо кормят. Это также не соответствует истине. Разумеется, людям, находящимся там, не подают разносолы и мясо, поскольку на питание в день положено расходовать пятьдесят геллеров. Зато в изобилии имеется питьевая вода и ежедневно предлагают превосходное пирожное в виде хлеба. Хлеб — это самая здо-

ровая пища, поэтому мурцовка, которую каждый день подают на завтрак, очень способствует укреплению духа и тела; трогательно видеть, как со слезами на глазах старики и старушки читают: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» Хлеб представляет им один наш коллега из городского совета.

Что до насекомых, то в доме не обнаружено ни москитов, ни скорпионов, ни тарантулов. Нет там и ядовитых сороконожек, от которых гибнет население Индии. И напротив — встречаются лишь вполне безвредные виды блох и клопов, укусы которых обходятся без последствий. А поскольку Винограды по количеству населения перегнали Жижков*, то можно считать, что по вшам здешний дом престарелых от жижковского значительно отстает, и все это благодаря той чистоте, которая старательно поддерживается в нашем доме.

Медицинское обслуживание здесь ТАКОЕ ЖЕ прекрасное. (Вот, вот, опять мне слышатся эти голоса.)

Перейду теперь к проблеме общественных уборных. На том же заседании, где была отклонена пустячная просьба Графнеровой, мы приняли решение выделить 19876 крон на строительство общественной уборной на площади Пуркине. (Да что же это такое? Что творится с убогой моей головой?) Потом мы приняли решение о строительстве и других, более дешевых уборных, по 8000 и 10000 крон. И если у Праги есть свой Дом представительства, то почему бы Виноградкам не иметь своей представительной, показательной уборной — культурного центра для господ городских советников? Кроме того, мы рассчитываем на прилив иностранцев, которые также оставят в WC изрядные суммы, поскольку мы приняли решение показательную виноградскую уборную сделать платной. (Ну что же это такое? Ах, если бы не было этих голосов!)

На вышеупомянутом заседании было решено также построить веранду на 10000 человек в садах Ригера. (Ах, эти голоса неотступно преследуют меня!) Нам высказывался упрек — дескать, заместитель председателя пан Билек был раздоса-

* Рабочий район Праги.

дован тем, что веранду предполагалось построить из железных конструкций. Это объясняется очень просто. Точно так же как обувщик запротестовал бы в том случае, если бы башмаки начали выпускать бумажные фабрики из бумажной массы, пан Билек, как он есть мастер плотницкого дела, выступил против железных конструкций. Совершенно открыто он заявил, что с железной конструкцией ему не справиться, и он вполне убедил нас, что из дерева возведет такую веранду, которая станет его лебединой песней. После столь веских доводов, которые не может не оценить ни один непредвзятый человек, мы, естественно, высказались за возведение деревянной веранды.

Далее: тот факт, что мы не подали заявки на строительство веранды, также не соответствует действительности. Мы подали заявку по просьбе самого пана Билека, который, будучи заместителем председателя, заверил нас, что обязуется как специалист беспристрастно рассмотреть ее и к весне веранду воздвигнуть.

На мой взгляд, объяснения, приведенные здесь, вполне убедительны, и непредвзятый наблюдатель должен обрести правильный взгляд на вещи.

Мы не оправдываемся. Мы заявляем: «Это правда. Мы не приняли Графнерову в дом престарелых, мы воздвигнем образцово-показательную уборную, в доме для престарелых сохраняется влажный климат, и мы подали заявку на строительство веранды».

Остаюсь в совершенном к Вам почтении

Подпись неразборчива

«Карикатуры» — 27.03.1911

Случай с котом

Бакалейный торговец Густолес, поспорив с соседом Кршичкой, сказал ему:

— Ничего себе, хороша партия! Всякий жулик, сорвавшийся с виселицы, баллотируется от вас в парламент!

— Мы еще сочтемся с вами, Густолес,— ответил на это Кршичка.

Кроме своего увлечения политикой, Густолес был еще известен как владелец большого черного кота. Кот постоянно сидел на пороге лавочки и был любимцем всей улицы. Все уважали его за игривый нрав и веселое расположение духа, которое, как известно, есть залог здоровья. Кроме того, кот был на редкость ласковый. Никому и в голову не приходило, что у этого милейшего создания вскоре появится тайный недоброжелатель. Однако же он появился, и как раз в лице Кршички, который, после упомянутого спора с Густолесом, сказал своему восьмилетнему отпрыску:

— Пепик, когда увидишь этого паршивого черного кота в лавке дурака Густолеса, наступи ему на хвост.

Какой ребенок не выполнит с восторгом такое приятное и лестное поручение!.. Пепик ринулся к лавке Густолеса, наступил коту на хвост и вдобавок оплевал его с головы до кончика хвоста. У старушки, что живет напротив, сердце захолонуло от жалости.

Сделав свое дело, Пепик дал тягу. Ошеломленный, кот не сразу сообразил, что случилось, но постепенно до него дошло, что скверный мальчишка прищемил ему хвост и что быть оплеванным не очень-то приятно. К вечеру он окончательно почувствовал себя оскорбленным и решил быть начеку.

Между тем Пепик получил от отца крейцер и обещание дальнейших наград за новые подвиги в том же духе. Кот был собственностью политического противника и для Кршички олицетворял всю ненавистную ему партию. Пепик как бы наступил на хвост всей этой партии и оплевал не только кота, но и всех единомышленников его хозяина.

В самом радужном настроении отправился Пепик продолжать свою политическую кампанию. Кот сидел у дверей и, казалось, спал. На самом деле он не спал. Он притворялся. Никто не должен упрекать его за это, ибо кот никогда не ходил в школу и никто не внушал ему, что притворство — грех. Итак, кот самым невинным образом притворялся, и Пепик наступил ему на хвост и плюнул на голову. Тут кот взвился и вцепился Пе-

пику в ногу. Потом, ошетинаясь, прыгнул мальчику на плечо, зашипел, заурчал, цапнул его когтями и, укусив за ухо, спрыгнул на пол. Удовлетворенный своей мезтью, кот задрал хвост и с достоинством отошел и уселся на пороге. Пепик ревел благим матом. Когда он приплелся домой, весь исцарапанный и окровавленный, папаша воскликнул:

— Слава богу, теперь я поймал тебя, Густолес!

И он повел Пепика в участок, где полицейский врач осмотрел мальчика и составил протокол, после чего был дан приказ схватить кота и подвергнуть его ветеринарному осмотру.

Двое полицейских отправились за котом и арестовали его именем закона. Так как кот всячески уклонялся от ареста, шипел и фырчал, пришлось послать за ящиком городского собаководы и ввергнуть ослушника в ящик. При этом кот оказал сопротивление властям, цапая полицейские мундиры, и допустил оскорбление полиции, шипя на представителей закона. Что именно он шипел, установить не удалось.

Кота отвезли на ветеринарный пункт, и полицейский сержант подал рапорт: «При аресте сопротивлялся, цапался, кусался. После отчаянного сопротивления был посажен в ящик и доставлен на повозке. Пытался сорвать с меня револьвер».

Протокол был составлен, подписан и передан прокурору. Прокурорский надзор установил в действиях господина Густолеса факт преступного недосмотра за животным. Прежде всего кот не содержался на цепи и в наморднике (тем более что шла избирательная кампания, когда так легко заразиться бешенством). Далее, между господином Кршичкой, отцом несовершеннолетнего Йозефа Кршички, подвергшегося нападению со стороны означенного кота, и между господином Густолесом, хозяином черного кота, напавшего на сына господина Кршички, давно существовали напряженные отношения на почве политических разногласий. Прокуратурой установлено, что кот Кршички с заранее обдуманном намерением нанес увечья сыну своего политического противника. Ввиду того, что, согласно действующему закону от 8/1 1801 года, коты считаются лицами неспособными, за коих отвечают их владельцы, вина падает целиком на господина Густолеса.

Тем временем кот был освидетельствован душевно и физически, и заключение поступило в прокуратуру. Оно гласило:

№ 2145/65.

ФРАНТИШЕК ГУСТОЛЕС

Освидетельствованный крепкого сложения и хорошей упитанности, однако страдает воспалением надкостницы, ввиду чего укусы его могут быть опасны для жизни. Исходя из этого, рекомендую освидетельствованного умертвить.

Доктор Кашпарек.

Прокуратура препроводила это заключение в полицейский участок. Там бумага была подшита к делу Густолеса.

Между тем кот был возвращен хозяину. Каков же был ужас всей семьи, когда однажды в пять часов утра за Густолесом явились четверо полицейских и отвели несчастного в участок.

— Это вы Франтишек Густолес?— хмуро спросил его строгий вахмистр.

— Я, господин вахмистр.

Молоденький полицейский в углу отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Дайте мне дело Франтишека Густолеса и не хнычьте,— рявкнул на него вахмистр.

Подали дело.

— Выслушайте постановление управы за № 75289, Густолес, от 15 июня 1911 г. Итак, № 75289. «По делу Франтишека Густолеса, на основе ветеринарного заключения № 2145/65, утверждается немедленное умерщвление. Обжалованию не подлежит. Основание — Закон об эпизоотиях от 12/III 1867 г. Советник градоначальства Ваничек». Как видите, обжалованию не подлежит,— повторил вахмистр.— Пишите-ка завещание, Густолес, и не ревите. Умерщвлены будете немедленно, как только мы получим из Вены подтверждение приговора и указание, каким способом привести его в исполнение.

Интересно, как выпутался Густолес из этой истории.

«Гумористицке листы»—22.06.1911

Отклики прессы на рост дороговизны

*«Национальная политика»**. Д-р Пранырек** пишет: В нынешнем состоянии повсеместного роста цен с удовлетворением можно констатировать, что вследствие роста цен на пиво во многих местах вспыхнули пивные забастовки. Люди становятся абстинентами, что, без сомнения, имеет колоссальное значение для широких народных масс, где потребление пива стало рассадником различных заболеваний, как душевных, так и телесных.

Результатом повсеместного роста цен на мясо явилось то, что менее обеспеченные слои населения обратились к растительной пище, то есть к тому идеальному питанию, которое препятствует медленному отравлению крови, вызываемому постоянным употреблением мяса.

С точки зрения сексуальной повсеместный рост цен на предметы первой необходимости имеет и иное благотворное воздействие, о чем мы более подробно поговорим в следующем номере «Политики».

*Ивонна**** отмечает: Единственно, что не подорожало, так это широкие шелковые воланы на нижние юбки.

Не следует думать, однако, что шелковые воланы повсюду одинаково дороги. У нас цена их снижена на одну крону, зато во время своего пребывания в Париже я обнаружила, что именно там, в городе, по части моды задающем тон всем европейским столицам, шелковые воланы становятся все дороже. Причину этого следует искать в постоянно растущем спросе на красивые нижние юбки и в забастовках парижских портних.

Широкие воланы знаменуют возврат моды ко временам кринолинов, и я не могу сказать, что это было бы некрасиво; на мой взгляд, прелестной и ладной, хорошо сложенной чи-

* «Национальная политика» (*чешск.* «Народни политика», «Политика») — орган реакционной старочешской партии; выходила в 1883—1945 гг.

** Д-р. Пранырек (П. Духослав) — чешский врач и писатель-профессионал.

*** Ивонна — литературный псевдоним журналистки и писательницы Ольги Фастровой (1876—1965).

тательнице «Национальной политики» будут к лицу и широкие воланы.

«*Время*»*. Мы скоро завершим свой анализ причин роста дороговизны. Ее следует искать в искусно разжигаемом стремлении католических кругов к росту популярности.

Бесспорно одно: во времена великих религиозных войн цены на продукты питания поднимались в зависимости от того, кто одерживал верх. Если победы достигала партия католиков, цены возрастали на пятьдесят процентов; если же побеждали евангелисты, цены на продукты падали. Перед битвой на Белой горе** Чехия была богатой, состоятельной страной; обратитесь к любым источникам, и вы убедитесь, как подскочили цены после того, как в Чехию ворвались иезуиты. «Чешские братья», Гусовы последователи, из-за невыносимой дороговизны вынуждены были искать прибежища в иных землях, поскольку католические поработители уже в ту пору взвинтили цены на продовольствие до такой степени, что скромное евангелическое и «чешско-братское» население не в состоянии было долее существовать в угнетенной стране.

Иную картину мы наблюдаем в Древнем Риме, о чем пишет наш Махар***. В эту эпоху цены на продукты были до смешного низки, и как же — по мнению нашего великого поэта — они изменились, стоило только католицизму восстать против света эллинского солнца.

В римской гостинице «Красный крест», находящейся в ведении иезуитов, три года назад наш великий поэт платил достойным отцам четыре лиры за один бифштекс без яичка. Во времена Нерона бифштекс стоил полсестерции, то есть — в переводе на наши деньги — восемь геллеров.

«*Чех*»****. Цены на продовольственные товары до невозможности взвинтили евреи, которые распяли господу нашего Иисуса Христа, как это широко известно всем нашим читателям.

* «*Время*» (чешск. «Час») — центральный орган реалистической партии; партия объединяла буржуазную интеллигенцию и проводила политику либерального реформизма.

** Сражение, в котором чехи потеряли свою независимость (1620).

*** Махар, Й.С. (1864—1942) — известный чешский поэт и писатель.

**** «*Чех*» — газета клерикальной христианско-социалистической партии.

С ними рука об руку идут гарибальдийцы, безбожники-ферре-ровцы, дабы с помощью возрастающей дороговизны взять измором наше духовенство.

Взгляните на убогих наших капелланов и священников, которые при своих скромных доходах до сих пор с радостью влачили свое жалкое существование — во славу господа нашего и спасителя, а нынче, при нынешней дороговизне, лицом к лицу столкнулись с голодом, о котором в Писании сказано, что голод наслал Господь, дабы наказать филистимлян.

Однако повелением божьим соотношения сил изменились. Филистимляне взвинчивают цены на продукты питания, и наше духовенство гибнет от голода. «Не хлебом единым жив человек», — насмеваются нынче безбожники, завидев голодающих священнослужителей, но мы им говорим: «Бог правду видит, да не скоро скажет». От люда католического зависит теперь, дабы усиленной поддержкой духовенства нашего прогнал он печаль с души своих духовных пастырей; и на правительстве также теперь долг лежит, дабы надлежащим исправлением системы вознаграждений оно оградило духовенство от голодной смерти.

Подорожали все предметы первой необходимости, а наиглавнейшая, первостепенная потребность, без которой человек — не человек вовсе, а язычник, — в отвержении; удовлетворение этой потребности идет все по той же цене. Я имею в виду обряд святого крещения, за отправление которого вознаграждение нынче таково, что священник не в состоянии прокормить себя как следует.

С одной стороны — он охраняет души от извечной погибели, а при этом сам погибает от голода.

О, когда же правительство уразумет, что тут необходима немедленная помощь, дабы евреи и вольнодумцы не уморили наше духовенство! Если правительство окажет ему эту помощь немедля, то не будут повторяться те сокрушающие сердце картины нищеты, каковые имели место в последнее время, когда к нам в редакцию пришел декан из сельской местности; он уже четыре дня ничего не ел и с плачем просил у нас кусочек хлеба. А добрые католики должны незамедлительно организовать сбор

средств в пользу наших голодающих пастырей. Так поднимемся на борьбу во имя того, кто посылает нам хлеб наш насущный! Вперед, волшебные стрелки! *Троян.*

«*Деревня*»*. Разоряют наше хозяйство. «Право народа»** врет без зазрения совести. Да вы взгляните на Находский край, господа товарищи, нынче там трудяги ходят и пальчики себе облизывают, а по губам у них сало течет.

А все почему? В четырех находских селах увели ихние друзья наших гусей и поросят и жарят их до сих пор; не глядя на то, что в Находе расквартированы четыре эскадрона драгун, каждое рабочее хозяйство благоухает ароматом нашей запеченной поросятины и наших жареных гусей, и аромат этот вызывает о мести.

Мы своих поросят растили, гусей откармливали, и на тебе — пришли орды товарищей, разорили наши хлевы и теперь, после совершенного разора, топят наше сало. На краюхи хлеба товарищи и взглядом не повели, им подавай наших гусей и поросят, а также нашу кровь. Разоренные усадьбы показывают, на какой путь нынче увлекли татары товарищей Немца и Шмералья, — эти наверняка получили львиную долю добычи и принесли домой увесистые гостинцы. Разорили они наши хозяйства да запамятовали, что у крестьян Находского края найдутся цепи и косы, которыми их предки обращали в бегство многие неприятельские своры, охочие до трудов их рук!

«*Право народа*». Грозят нам косами, цепями, молотилками! «*Деревня*» жаждет нашей крови, крови товарищей Немца и Шмералья! Они грозят нам смертью наших сельских товарищей, чтобы те не протестовали против ростовщической аграрной политики голода.

Жены рабочих, помните, что отныне ваши мужья не уверены в завтрашнем дне, когда им придется идти к кровососам-аграриям за молоком для ваших детишек. Аграрии их сунут в молотилки, отсекут их понурые от забот головы цепями, а вас лишат кормильцев. Жаждут они и нашей крови, но охотнее все-

* «*Деревня*» (чешск. «Венков») — газета реакционной аграрной партии.

** «*Право народа*» (чешск. «Право лиду») — орган правого крыла чешской социал-демократии, главным редактором которой был А. Немец.

го сельские земаны* впрягли бы вас, овдовевших, изнасилованных, вместо конской упряжки.

«Чешский кондитер». Поскольку сахар снова вздорожал, у нас пропал староста, вместе с казной. Пусть его растрата будет на совести господ, играющих на нашей бирже.

«Карикатуры» — 15.01.1912

Австрийская таможня

Бродя в окрестностях Дрездена, я пережил несчастье, попал под скорый поезд. Меня смяло в лепешку, так что врачам понадобилось полтора года, прежде чем они в больнице собрали меня заново. Я рассчитывал вернуться из Дрездена в Прагу через четыре дня, а задержался более чем на восемнадцать месяцев.

Впрочем, все мы в руках божьих, а я, кроме того, был еще и в руках врачей.

Вид у меня был ужасный. Что сохранилось от меня прежнего, я до сих пор не понимаю. Знаю лишь, что восемнадцать врачей и пятьдесят два ассистента искусно собирали меня по косточкам. И собрали прекрасно. Мне, как инвалиду, вручили медицинское свидетельство, где говорилось, из чего я теперь слеплен, и свидетельство это заняло четырнадцать страниц.

От меня самого уцелели только остатки серого вещества, какая-то часть желудка, килограммов пятнадцать плоти, поллитра крови, все прочее оказалось чужое, исключая сердце, да и оно было сшито из двух половин — моей и коровьей.

Хирургия одержала истинный триумф. Кожу всюду заменили на искусственную, что тоже было отмечено в выданном свидетельстве.

Это был блестящий пример того, как медицинская наука, словно в сказке, словно дети из строительных кубиков, может из кусочков создать нового человека.

Когда меня выпустили из больницы, я отправился на глав-

* Мелкопоместный чешский дворянин, землевладелец.

ное кладбище — поглядеть на свои захороненные останки в отделении погребенных человеческих органов, полученных из больницы, а потом добрался до вокзала и поехал в Прагу, убежденный в том, что Дрезденом я сыт наверняка больше, чем все туристы, когда-либо посещавшие этот дивный город.

В Дечине, на австрийской таможене, нас подвергли таможенному досмотру. После того как таможенники вытащили наши чемоданы и повозились с ними какое-то время, взгляд одного чиновника упал на меня. Надо думать, своеобразный вид человека, искусственно собранного из кусочков, вызвал у служащего таможи подозрение, что человек с таким странным взглядом должен по крайней мере спекулировать сахарином. Я выглядел как побитый контрабандист.

— Берите чемодан,— показал мне таможенник,— и пойдете в канцелярию.

В канцелярии чемодан открыли, осмотрели и не обнаружили ничего подозрительного, но тут вдруг среди бумаг на глаза им попалось медицинское заключение, выданное дрезденской больницей и подписанное восемнадцатью профессорами и пятьюдесятью двумя ассистентами.

— Дружище!— сказали мне таможенники, заглянув в заключение.— В Австрию мы вас пропустить с этим не можем, идите наверх, к управляющему.

Управляющий большого учреждения — человек всегда весьма представительный и знающий свои обязанности. Посмотрев в медицинские бумаги, он сказал:

— Во-первых, как видно из документов, задняя часть черепа у вас заменена серебряной пластиной. Серебро не апробировано, поэтому вы обязаны уплатить 12 крон. Вес серебра 120 граммов, согласно тарифу VI и тарифу VIII-б § 946 таможенных предписаний, вы сознательно намеревались провезти через границу неклеяемое серебро, в связи с чем должны уплатить штраф в трехкратном размере, то есть $3 \times 12 \text{кр} = 36 \text{кр}$.

Далее: пошлина на 120 г. серебра, пункты «ф» и «г» установления от 1902 года, принятого после поправок к Международному договору, составляет 10 геллеров за грамм, то есть за 120 граммов — 12 крон; кроме того, левая бедренная кость у

вас заменена лошадиной. Это мы расцениваем как незаявленный провоз костей. Тем самым, голубчик, вы наносите ущерб австрийской торговле костями животных.

С какой целью вы носите с собой лошадиную кость? Она служит вам для передвижения? Тогда занесите в протокол, что лошадиную кость вы используете в промысловых целях. Главное — честно признаться, голубчик.

Промысловые цели — это дело очень хорошее, но в данном случае оно вам влетит в копеечку, поскольку пошлина за потаенный, незаявленный провоз костей животных в Австрию у нас очень большая. Уплатите 24 кроны.

Да, тут вот еще они пишут, что вместо трех ребер у вас платиновые проволоки. Дружище! Вы везете в Австрию платину? Да вы знаете, что вас ждет? Штраф в 300-кратном размере. Если эти проволоки весят двадцать граммов, значит, штраф составит 1605 крон. Нет, с вашей стороны все это — преступное легкомыслие.

Погодите, это что еще?

Здесь указано, что часть ваших почек, а именно почка левая заменена свиной?

Дорогой мой! Ввоз свиней в Австрию строгойше запрещен. Это запрещение распространяется и на отдельные свиные органы, а в силу этого — если вы желаете вернуться в Чехию — левая почка должна остаться в Германии.

На это я не согласился и потому вот уже десять лет торчу в Саксонии в ожидании, когда аграрники (поскольку я сам — член их партии, аграрник) разрешат ввоз поросят. Лишь тогда мне удастся попасть на родину.

«Карикатуры» — 27.03.1912

Борьба добра со злом

Однажды прекрасным августовским днем мой зять и пан Хутера рассорились не на жизнь, а на смерть. Оба тогда еще были холостыми и проводили отпуск где-то в долине Метуи.

Лесов в округе не было, только за ручьем, протекавшим

поблизости от дома, где им так часто делалось скучно, раскинулась небольшая роща. Как-то от нечего делать зять взялся пересчитывать деревья и насчитал семьдесят два ствола. Рощица эта была каким-то проходным двором. Через нее ездили в поле и возвращались обратно, множество людей проходило сквозь нее по нескольку раз на дню.

Приятеля получали из Праги газеты, а там писали, что в нынешнем году — богатый урожай грибов, особенно белых.

Естественно, им стало мерещиться, что в этой маленькой рощице они найдут грибы, множество, великое множество грибов, этих чудесных, замечательных, знаменитых беляков. Каждое утро они шли в эту рощу, потом, склонив голову чуть не до земли и согнувшись в три погибели, в полном молчании елозили среди кустов и со злостью раскапывали мухоморы и всякие прочие ядовитые грибы. Особенно часто их подводили грибы с коричневыми шапочками, выглядевшие как самый хорошенький белый грибок. Друзья бросались на них, но увы! — под рукой оказывались дедушкины табачки с бахромой внизу.

Обрыскав все кустарники, обнюхав все пространства, поросшие мхом, они, потеряв всякую надежду, возвращались домой.

Но свежие, только что полученные газеты сообщали, что грибов такая пропасть, что люди даже перестали их собирать.

Молча взглянув друг на друга, они возвращались в лесок. Снова яростно принимались откапывать темноголовые грибы, и снова их ждали одни разочарования.

На тех, кто встречал их после похода за грибами, сумрачных, грустных, от этой парочки веяло тоской.

Каждое утро солнце приветствовало их в лесу, сгорбленных, припавших к земле, а на закате прощалось с ними, снова в том же лесочке. Оно оставляло их разочарованных, повергнутых в уныние и печальных, поскольку они целый день караулили, когда же наконец грибы прорастут. Лежа на животе, мой зять часами не сводил глаз со мха, ну точно кошка, которая терпеливо ждет у дырки в полу или у водостока, когда же оттуда выскочит мышь. Его навязчивая идея стала вызывать у нас опасения. Он рассчитывал, что прямо у него на глазах

вылезет из земли это чудо — прелестный белый грибок.

Напротив, тоже на брюхе, лежал пан Хутера, наблюдая через увеличительное стекло, в каком месте мох начнет коричневеть. Те, кто видел друзей в роще, сначала решили, что господа что-то вымеряют, а потом рассудили, что это, наверное, спяну.

Пан Хутера выписал целую гору книг о грибах, но это ничему не помогло. Природа сделала из этой рощицы исключение. Газеты сообщали, что такого изобилия белых не бывало никогда, так что с трудом отыщешь дедушкин табачок, а здешний лесок с утра уже поблескивал табачками, а белых...

Приятели начали вставать в два часа ночи и искали грибочки при свете карманных фонариков.

Ночами, до того мгновенья, пока они не отправлялись в свои безмолвные и безуспешные походы, им снились сны о грибах, которые они отыскиали и за которыми из Праги пришлось вызвать специальный вагон.

В газетах появлялись сообщения, что тот либо иной гражданин принес в редакцию белый гриб высотой в полметра, в обхвате 75 сантиметров, а весом 12 килограммов.

Но у них все было по-прежнему.

На их рощицу благодать не распространялась. Иной ночью зять тихонько ускользал от пана Хутеры и... находил его среди кустов поджидающим, не вылезет ли из-под земли какой-нибудь беленький. Творилось нечто чудовищное. У них начались зрительные галлюцинации. Козьи катышки и коровьи лепешки они принимали за боровички.

Однажды, когда они снова, как и в прочие дни, без всякой надежды бродили по своему чахламу лесочку, где раскопали столько фальшивых коричневых шляп, у самой обочины пан Хутера с досады пнул ногой еще один такой лжеборовичок, проговорив: «Вот вам, стервы окаянные, хватит людей морочить!»

Зять мой инстинктивно поднял кусочек предательской грибной шляпки и, только взглянув на нее, горестно возопил:

— Да ведь это же всамделишный белый, господи ты боже мой!

То была горькая правда. Пан Хутера раздавил единственный настоящий белый гриб, зародившийся в этом захудалом лесу, и пан Хутера не пощадил единственную спасительную звезду, осветившую их безнадежное мрачное существование.

Своим башмаком он уничтожил тот единственный светоч, в поисках которого они столько дней блуждали меж этими семьюдесятью двумя соснами.

— Хулиган!— воскликнул мой зять, оплакивая невознаградивую потерю. Пан Хутера был сокрушен и взволнован не менее его. Чтобы скрыть досаду, он начал ругать своего приятеля и даже бросил такую мысль, будто со своим грибом он волен делать что заблагорассудится — хоть растолочь в ступе или швырнуть в печку. Зять ему возразил, дескать, после всех найденных мухоморов он спятил, идиот этакий. Так мило развлекались они всю дорогу, пока шли домой, и дома, в своей комнате, пан Хутера быстренько сложил чемоданы и в тот же день отбыл в Прагу. Мой зять проводил его на станцию, испортив ему отъезд всевозможными упреками, на что пан Хутера ответствовал громоподобной бранью. Войдя в вагон, он открыл окно и торжествующе крикнул моему родственнику:

— Вот если бы я гриб этот не сшиб, вы бы до смерти не отличали белый от мухомора!

Следствием этого явилась запись, занесенная зятем в дневник: «14 августа 1909 года пан Хутера нанес мне смертельное оскорбление».

С тех пор прошло несколько лет. Оба они служили в одном и том же учреждении, но, кроме как по служебным вопросам, ни о чем не разговаривали.

К несчастью, пан Хутера стал начальником моего зятя. Спустя дня два после этого события я получил от зятя письмо, в котором он умолял меня не отказать ему в любезности и некоторое время пожить у него, «ибо,— писал он,— ты будешь нужен, дабы пером своим по моим указаниям наглядно изобразить борьбу добра и зла».

Я знал, что зять всегда весьма витиевато выражается в своих писаниях.

Еще в пору его ухаживаний за моей сестрой однажды на

прогулке он осерчал на автомат, выдававший за 5 геллеров кусочки шоколада: зять швырял пятигеллеровики один за другим — однако не получил ни кусочка. Израсходовав без толку восемьдесят геллеров, он вдруг закатил такой скандал, что сбежался народ, сестра тянула его прочь, однако этот справедливый человек не оставлял попыток сорвать автомат со стены и отнести его в полицейское отделение — для обследования причин такого безобразия.

Сестра, значит, убежала от него, а на следующий день получила послание, где в возвышенных выражениях он высказывал ей свое удивление тем, что вопреки его ожиданиям она, его будущая верная супруга, не помогла ему сдернуть автомат со стены, а ведь в Святом писании говорится, что невеста обязана повсюду и во всем следовать за своим женихом.

Заканчивалось письмо элегически: «Увы, лист жухнет и опадает, а я удаляюсь в неведомые края».

Сестра, получив сие послание, заплакала и даже во время обеда всхлипывала, повторяя: «Увы, лист жухнет и опадает», так что маменьке пришлось привести ее в чувство.

— Маня, пожалуйста, не смотри так жалостливо на кровельщика, не то он тоже упадет,— заметила она.

Загадочный конец письма разъяснился на следующий день. Вместо того чтобы удалиться в «неведомые края», мой зять пожаловал к нам на обед и под неслышный осенний листопад умял столько блинов, что сестре пришлось трижды подавать ему черный кофе.

Поэтому меня разбирало любопытство, чем же теперь обернется последнее действие «борьбы добра и зла», как значилось на бумаге.

Зять встретил меня с нескрываемой радостью и после обеда весьма загадочно уснул мою сестру кого-то навестить, а сам подвел меня к письменному столу.

— Тебе, конечно, прекрасно известно,— без предисловий, с места в карьер начал он,— что пан Хутера — самый мой заклятый враг.

— Еще бы мне не было известно,— вздохнул я, поскольку

историю с белым грибом помнил наизусть: ведь зять развлекал нас ею что ни день перед свадьбой, да и после свадьбы не раз повторял одно и то же.

— Значит, мне не нужно объяснять, как он меня оскорбил и какими словами? Но ему этого было мало, он все думал, как бы меня побольнее унижить, и вот — стал моим начальником. И этому человеку, который сшибает прекраснейшие в мире белые грибы, потому как считает их мухоморами, я теперь должен носить на подпись все бумаги. И я решил его уничтожить...

Он произнес это торжественным и взволнованным тоном, а потом ушел в кладовку — за бутылкой вина. Наливая себе и мне, он продолжал:

— Я сам удивляюсь, откуда у меня такая отвага, но с сегодняшнего дня считаю важнейшей своей жизненной задачей раздавить его.

Он добросердечно рассмеялся и принялся развивать предо мной программу священной мести.

— Мы сочиним книгу о пане Хутере, в некотором смысле — историю его жизни. От розового детства и по нынешний день будем беспощадно его бичевать и клеймить позором. Мы издадим анналы, которые представят его обществу и сослуживцам в самом невыгодном свете.

Он принес еще одну бутылку.

— Мы сделаем его посмешищем, и когда он это прочтет, то станет противен самому себе. Разумеется, мы должны работать по системе. Критически оценивать каждый его шаг. Конечно, мы должны написать книгу так, чтобы самый равнодушный ахнул, придя в ужас от этой жизни. Писать мы будем одну чистую правду, — добавил он в разъяснение, откупоривая третью бутылку вина. — Правду любой ценой, но правду без прикрас, без уверток. Само собой, в книге не должно быть никаких грубостей. У меня собрано столько материала, — оживляясь, проговорил он, — работа у тебя пойдет легко. Материал разделим по трем периодам: подлость, ничтожность, низость персонажа в возрасте от года до пятнадцати лет, потом от пятнадцати до двадцати пяти и от двадцати пяти до сорока.

Начало я придумал приблизительно такое: «Йозеф Хутера прожил жизнь богомерзкую и людям противную». Получится вполне оригинальный роман.

У зятя поднялась икота, поскольку мы приканчивали уже четвертую бутылку, а я знал его как человека воздержанного и трезвенника.

— Блестящая идея, — разговорился он, — это будет наглядный пример и описание извечной борьбы добра со злом, в которой добро в конце концов одерживает победу. Я буду являть собой воплощение добра — наливай себе, наливай, в кладовке вина достаточно. Хутера заскрежест зубами от ярости, когда будет это читать. Люди будут сторониться его. Ты знаешь, о нем опять говорят кое-что новенькое? Похаживает он к мороженщице, к итальянке одной. Все-таки это ни в какие ворота... Он даже учит итальянский. А какую жизнь он ведет? В ночных притонах, на танцульках, в кабаках его имя не сходит у кельнерш с уст. Вот я и спрашиваю, где же тут мораль?

Сделав жест, достойный Савонаролы, он чуть было не свалился со стула.

— Сегодня мы встретимся с ним лицом к лицу, потому как этого барсука следует выгнать из его логова. Только так мы добудем позорящий его материал. Добро победит зло. Мы пойдем по его стопам, как гиены. Позволь мне выразиться так, как я пожелаю. Или ты с ним заодно?

Он начал помаленьку одеваться, причем несколько раз обзывал меня предателем.

— Кто не со мной, тот против меня, — бросил он, допив бутылку, — но добро победит зло, это будет отчаянное, но победное сражение.

Зять подошел к столу и большими буквами корявым почерком написал на обрывке бумаги: «Дорогая Маня! Не пугайся, если не обнаружишь меня дома. Иду исполнить долг всей своей жизни. Твой Олда».

— Теперь мы заглянем в один погребок, — сказал он мне, уже на улице застегивая жилет, — говорят, он водит знакомство с двумя тамошними подавальщицами.

Войдя на площадку трамвая, он завел разговор с каким-то господином и — к немалому удивлению последнего — изложил ему историю того, как пять лет назад 14 августа 1909 года пан Хутера раздавил ногой единственный белый гриб.

— Этот человек,— добавил он, показав на меня пальцем,— идет вместе со мной собирать против него материал.

Кроме того, свою историйку про белый грибок он попытался пересказать еще и вагонновожатому, невзирая на просьбы администрации к пассажирам попусту не болтать во время езды с водителем.

Наконец мы попали в погребок, но пана Хутеры там еще не было.

— Понятно,— подмигнул мне зять.— Он еще кушает мороженое у той итальянки, запиши-ка. Не желаешь? Ты идешь против меня? Хочешь меня предать или держишь его сторону? Нынче ровно пять лет тому,— грустно, меланхолическим тоном заговорил он снова,— как Хутера раздавил единственный настоящий белый гриб, и с тех пор громоздил и громоздил зло. Однако добро восторжествует. Дайте-ка нам виски, но без содовой!

Тут в погребок спустился пан Хутера.

— Вот это неожиданность, коллега,— сказал он, снимая шляпу.— У вас тут столик?

— Мест полно, господин начальник,— с горечью заметил мой зять и представил меня шефу.

— Вот написали бы, как ваш зять ходил за грибами. Мне нужно было гриб наподдать ногой, чтоб он различил, что это не мухомор. Много воды утекло с тех пор. Отдыхали мы вместе на даче — прекрасное было лето! Чудный такой августовский день... Дайте нам охлажденного мозельского...— заговорил теперь уже пан Хутера.

Зять поглядел на пана Хутеру. Я ждал, что произойдет дальше. Выпив свое виски, он предложил:

— Знаешь, Хутера, а не перейти ли нам снова на «ты»?

Поздно ночью я доставил зятя домой, по лестнице мне помог его провести хозяин. Мы с сестрой уложили его на диван, поскольку он ни под каким видом не хотел раздеваться, твердя,

что через два часа пойдет по грибы.

— Теперь я должен тебе признаться,— проговорил он между прочим,— что в тот раз мы одновременно наподдали этот грибок... Борьба добра со злом...— буркнул он под конец и захрапел и засвистел носом.

Вот видишь, дорогой зятек. Ты хотел, чтобы мы собрали материал против пана Хутеры, а, не подозревая того, собрал материал сам против себя. Но будь покоен. Причиной появления этой заметки явилась только моя алчность. Ты угощал меня плохим венгерским, а пан Хутера напоил превосходным мозельским редчайшей марки...

В борьбе добра со злом я поддался чарам добра.

«Копршивы»—8.10.1914

Как я встретился с автором некролога обо мне

За мое 5—6-летнее пребывание в России я был несколько раз убит различными организациями и отдельными лицами*.

Вернувшись на родину, я узнал, что был трижды повешен, два раза расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами-киргизами у озера Кале-Ышела.

Наконец, меня окончательно закололи в дикой драке с пьяными матросами в одесском кабаке. Эта версия мне кажется самой правдоподобной.

Правдоподобной казалась она и моему доброму другу Кольману, который, найдя очевидца моей позорной и в то же время героической смерти, написал об этом так неприятно окончившемся для меня событии целую статью в своем журнале.

Он не ограничился небольшой заметкой. Его доброе сердце принудило его написать обо мне некролог, который я прочел вскоре по своем возвращении в Прагу.

* После перехода Гашека на сторону Красной Армии в Праге часто возникали слухи о его смерти; в связи с этим в газетах не раз печатались некрологи, обычно пасквильного характера, что отражало отношение чешской буржуазии к писателю-сатирику.

Будучи уверен, что мертвые из гроба не встают, он весьма элегантно выругал меня в этом некрологе.

Чтобы убедить его в том, что я жив, я пошел его искать.— так возник этот рассказ.

Даже Эдгар По, мастер кошмаров и ужасов, не мог бы придумать более страшного сюжета.

Автора своего некролога я нашел в одном из пражских винных погребков, как раз в двенадцать часов, когда, согласно какому-то императорскому предписанию от 18 апреля 1856 года, закрываются винные погребки.

Он смотрел на потолок. Со стола убрали залитые скатерти. Я присел к его столу и спокойно спросил:

— Здесь не занято? Разрешите?

Он все еще обозревал заинтересовавшее его место на потолке и ответил вполне логично:

— Пожалуйста. Как раз закрывают, думаю, что вам безразлично, свободно или занято.

Я взял его за руку и повернул к себе. Он минуту молча смотрел на меня и наконец шепотом спросил:

— Простите, вы не были в России?

Я засмеялся.

— Вы меня только теперь узнали? Я был убит в России в одном грязном кабаке в дикой схватке с пьяными матросами.

Он побледнел.

— Вы... вы...

— Да,— сказал я ему твердо,— я был убит в корчме в Одессе матросами, и вы посвятили мне некролог.

Он чуть слышно прошептал:

— Вы прочли, что я о вас писал?

— Ну, конечно, некролог очень интересный, если отбросить некоторые небольшие недоразумения. Он только длинноват. Даже когда умер государь император, ему не отвели столько строчек. Ему ваш журнал посвятил 152 строчки, а мне 186, по 33 геллера за строчку,— как нищенски прежде платили журналистам!— что всего составляет 55 крон и 15 геллеров.

— Что вы, собственно, от меня хотите?— спросил он испу-

ганно.— Хотите эти 55 крон и 15 геллеров?

— Оставьте этот заработок себе,— ответил я,— мертвые не берут гонораров за некрологи.

Он побледнел еще больше.

— Знаете что,— сказал я непринужденно,— заплатим и пойдем еще куда-нибудь. Я хочу провести эту ночь с вами.

— Нельзя ли это отложить хотя бы на завтра?

Я пристально посмотрел на него.

— Счет!— крикнул мой собеседник.

Позвав на углу извозчика, я предложил сесть автору своего некролога в фиакр и гробовым голосом сказал извозчику:

— Везите нас на Ольшанское кладбище.

Автор моего некролога перекрестился.

Долго царила томительная тишина, нарушаемая только хлопаньем бича и фырканием лошадей.

Я наклонился к своему спутнику.

— Не кажется ли вам, что где-то в тиши жижковских улиц завывли собаки?

Он задрожал, приподнялся и спросил, заикаясь:

— Вы действительно были в России?

— Убит в корчме в Одессе в драке с пьяными матросами,— ответил я сухо.

— Езус Мария,— отозвался мой спутник,— это ужаснее, чем «Свадебная рубашка» Эрбена*.

И опять наступила томительная тишина... Где-то действительно завывли собаки.

Когда мы очутились на Страшницком шоссе, я предложил своему спутнику расплатиться с извозчиком. Мы стояли во тьме Страшницкого шоссе.

— Скажите, пожалуйста, нет ли здесь какого-нибудь ресторана?— обратился ко мне безнадежным и жалобным тоном автор некролога.

— Ресторан?— засмеялся я.— Мы сейчас перелезем через кладбищенскую стену и поговорим где-нибудь на могильной

* Карел Яромир Эрбен (1811—1870)— выдающийся чешский поэт, собиратель славянского фольклора. «Свадебная рубашка»— одна из баллад поэта.

плите об этом некрологе. Лезьте вперед и подайте мне руку.

Он молча подал мне руку, и мы соскочили на кладбище. Под нами затрещали сучья кипариса. Ветер меланхолически шумел между крестами.

— Я дальше не пойду!— сорвалось с уст моего приятеля.— Куда вы хотите меня утащить?

— Сегодня,— весело сказал я, поддерживая его,— мы пойдем посмотреть на склеп старого пражского семейства Бонепиани. Совершенно заброшенный склеп в первом отделении, шестой ряд, у стены. Заброшенный с того самого времени, как в нем похоронили последнего потомка, которого привезли в 1847 году из Одессы, где он был убит матросами в корчме во время драки.

Мой спутник вторично перекрестился.

Когда мы уселись на надгробную плиту, покрывавшую прах последних потомков пражских горожан Бонепиани, я взял автора своего некролога за руку и произнес тихим голосом:

— Дорогой друг! В гимназии преподаватели учили вас прекрасному, благородному правилу: о мертвецах ничего, кроме хорошего! Вы же отважились написать обо мне, мертвце, всякие мерзости. Если бы я сам писал о себе некролог, я написал бы, что ни одна смерть не оставляла такого тяжелого впечатления, как смерть господина такого-то! Я написал бы: «Самой крупной заслугой умершего писателя была его любовь к добру, ко всему, что свято для чистых душ». Вы же написали, что умер жулик и комедиант! Не плачьте! Бывают моменты, когда сердце бурлит от желания описать самое прекрасное из жизни умерших. Но вы... написали о том, что покойный был алкоголиком.

Автор моего некролога зарыдал еще сильнее, его скорбные рыдания разносились по тихому кладбищу и терялись где-то вдали у Еврейских печей.

— Дорогой друг,— сказал я решительно,— не плачьте, теперь уже ничего не исправишь...

Сказав это, я перепрыгнул через кладбищенскую стену, подбежал к будке кладбищенского привратника, позвонил к нему и заявил, что, возвращаясь с ночной работы, я слышал за клад-

бищенской стеной первого отделения плач.

— Это, наверно, какой-нибудь нализавшийся вдовец,— цинично ответил привратник,— мы его арестуем.

Я ждал за углом. Приблизительно через десять минут ночные сторожа вели с кладбища автора моего некролога в участок. Он упирался и кричал:

— Сон это или действительность?! Господа, вы знаете «Свадебные рубашки» Эрбена?

«Трибуна»—16.1.1921

Моя исповедь

Газета «28 октября»* в ряде фельетонов старается очернить меня в глазах всей чешской публики. Подтверждаю, что все там обо мне написанное — правда. Я не только отпетый прохвост и негодяй, каким изображает меня «28 октября», а еще гораздо более страшный злодей.

Принеся эту чистосердечную повинную перед всем чешским обществом, передаю редакции «28 октября» дополнительно подробный материал для нападок.

Итак, исповедуюсь господа всемогущему и вам, господа депутаты Модрачек и Гудец.

Уже своим появлением на свет я причинил большую неприятность моей матушке, которая из-за меня в течение нескольких суток не знала покоя ни днем, ни ночью.

В возрасте трех месяцев я укусил кормилицу. Дело разбиралось в высшей инстанции уголовного суда в Праге. Ввиду моей неявки матушка была приговорена к трем месяцам — по обвинению в недостаточном надзоре за ребенком.

Уже в то время я был таким извергом, что и не подумал явиться на суд, чтобы сказать хоть слово в защиту бедной матушки. Напротив, я как ни в чем не бывало продолжал расти, проявляя зверские наклонности.

* Реакционная чешская газета (1920—1923), организовывавшая травлю Я. Гашека после его возвращения на родину.

В возрасте шести месяцев я съел своего старшего брата, украл у него из гроба образки святых и спрятал их в постель к служанке. Служанку выгнали за кражу и присудили за ограбление покойника к десяти годам тюрьмы. Там она умерла насильственной смертью, подравшись с другими арестантками на прогулке.

Жених ее повесился, оставив шестерых внебрачных детей, из коих несколько единоутробных братьев и сестер стали впоследствии международными ворами, промышляя по отелям, один — прелатом, а последний, самый старший, сотрудничает в газете «28 октября».

К тому времени, как мне исполнился год, в Праге не было кошки, которой я не выколол бы глаза или не отрубил бы хвост. Когда я гулял со своей няней, все собаки, завидев меня издали, убегали прочь.

Впрочем, моя няня недолго гуляла со мной, так как, достигнув возраста полутора лет, я отвел ее в казармы на Карловой площади и отдал там за два кисета табаку на потеху солдатам. Не пережив позора, она кинулась возле Велеславина под пассажирский поезд, который, наткнувшись на это препятствие, сошел с рельсов, причем восемнадцать человек было убито и двенадцать тяжело ранено. Среди убитых находился торговец птицами; все его клетки были разнесены в щепы, а из птиц, по милости провидения, спаслась лишь синица (*супескула суетика*), пернатый из породы певчих птиц, окраска сверху серо-бурая, над хвостом светлее, на груди и зобе оперение синее с белой или красно-рыжей полоской посередине, брюшко белое; родина — Чехия; водится обычно в небольшом количестве в местах влажных, поросших кустарником; питается червями и насекомыми, которых ловит, виляя хвостом. В неволе быстро приручается и без умолку поет (см. «Научный словарь Отто»*, том 17, стр. 491).

В три года я превосходил распутством всю пражскую молодежь. В этом нежном возрасте я состоял в любовной связи

* Чешская энциклопедия, издававшаяся в 1888—1908 гг. (дополнена в 1930—1940 гг.)

с женой одного высокопоставленного лица; если бы эта преступная тайна стала достоянием гласности, был бы скандал на всю страну.

В возрасте четырех лет я убежал из дому, так как проломил швейной машинкой голову сестре Мане. При побеге похитил у родителей несколько тысяч гульденов, которые прокутил в пражских трущобах в воровской компании.

После того как деньги вышли, жил попрошайничеством и карманными кражами, выдавая себя за сына князя Туна* (тогда еще графа). Был задержан и отдан для исправления в либеньский исправительный дом, который поджег. В огне погибли все преподаватели, так как я запер их в помещении.

Настало опять трудное время. Голодный, бродил я, пяти лет от роду, по улицам Праги, воруя булки в пекарнях и яблоки у торговков. Но положение заметно улучшилось после того, как я совершил кражу со взломом в церкви св. Томаша, похитив золотую дароносицу. Дароносицу я продал одному перекупщику за один гульден. Пропив эти деньги в знакомом заведении в Мертвецком переулке, я стал ходить к перекупщику и шантажировать его, грозя выдать. Я вымогал у него один гульден за другим, пока он сам не явился в полицию с повинной, решив, что так выйдет дешевле.

Мне пришлось оставить Прагу, и я переселился в Польну. Желая исповедаться со всей искренностью до конца, довожу до всеобщего сведения: ту девушку в Польне убил не Гильснер, а я!**

На этом дельце я заработал три гульдена!

Дальше мне, понятное дело, оставаться в Польне было невозможно, и я пошел пешком в Вену, до которой добрался в возрасте шести лет. Не имея средств на переезд в Прагу, был вынужден совершить кражу со взломом в банке на Герренштрассе, предварительно задушив на всякий случай одного за другим четырех сторожей.

* Австрийский реакционный государственный деятель, наместник Чехии (1911—1915).

** Гашек имел в виду процесс по делу об убийстве, совершенном якобы в ритуальных целях.

Это было действительно одно из самых ужасных моих преступлений, коему нет оправдания; но не забудьте, что я тосковал по дому, хотел увидеть после долгой разлуки своих престарелых родителей...

Впрочем, не надо сентиментальности!

До Праги я доехал благополучно. В пути мне удалось выманить одну пожилую даму на площадку, вырвать у нее из рук сумочку, а ее столкнуть на полном ходу с поезда. Когда этой дамы хватились, я сказал, что она вышла на последней станции и просила передать всем привет.

Родителей я уже не застал в живых. Узнав о моих злодействах, отец за два месяца до моего возвращения с горя повесился, а матушка кинулась с Карлова моста в воду и, когда ее пытались спасти, опрокинула лодку, пустив всех спасающих ко дну.

Я остался один-одинешенек, так как отравил всю семью бедного моего дяди и присвоил его сберегательную книжку, в которой подделал цифры, чтобы побольше получить...

Многоуважаемая редакция «28 октября»!

Перо вываливается у меня из рук. Я хотел бы продолжать, хотел бы исповедаться до конца. Но поток жарких покаянных слез туманит глаза мои. Я плачу, горько плачу над своей юностью, над прошлым своим, в то же время искренне радуясь предстоящему продолжению обличительных фельетонов обо мне в вашей газете. Это явится и пребудет дополнением к моей исповеди.

Для того чтобы весь чешский народ убедился в полноте и искренности моего раскаяния, заявляю о своем желании вступить в партию прогрессивных социалистов*.

Обещаю примерным поведением оправдать ваше доверие.

Прошу сообщить, где и когда могу я внести первый членский взнос.

Пока до свидания!

«Ческе слово»—28.1.1921

* Правооппортунистическая партия, созданная Модрачком и Гудцем (1919—1923).

Содержание

- 5 *В. Аркадьева. От составителя*
- 9 *Прага есть Прага. Перевод Т. Аксель*
- 12 *Вещий сон крестьянки Богановой.
Перевод Е. Мартемьяновой*
- 17 *Казак Борышко. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 21 *Неспешная езда. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 25 *Ссора. Перевод В. Аркадьевой*
- 29 *Пепел кенаря Маника. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 33 *Талантливый человек. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 40 *Холодная натура. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 45 *Вопросы читателям. Перевод Е. Мартемьяновой*
- 47 *Из дневника наивной девушки. Перевод В. Аркадьевой*
- 51 *Приключение с цилиндром. Перевод Ю. Молочковского*
- 55 *Дороговизна. Перевод В. Аркадьевой*
- 58 *Мнемотехника. Перевод В. Аркадьевой*
- 61 *Борьба с домоправителями. Перевод В. Аркадьевой*
- 72 *Практикант Жемла. Перевод Е. Мартемьяновой*

- 76 Из жизни Карела Брода. *Перевод Е. Мартемьяновой*
- 78 В Нейбурге. *Перевод Т. Аксель*
- 83 Пан Непреклонный. *Перевод Е. Мартемьяновой*
- 86 Таинственное послание. *Перевод Е. Мартемьяновой*
- 90 Почетный диплом. *Перевод Ю. Молочковского*
- 93 Безбилетный пассажир. *Перевод Е. Мартемьяновой*
- 97 Ответ Виноградской ратуши. *Перевод В. Аркадьевой*
- 100 Случай с котом. *Перевод Ю. Молочковского*
- 104 Отклики прессы на рост дороговизны.
Перевод Е. Мартемьяновой
- 108 Австрийская таможня. *Перевод В. Аркадьевой*
- 110 Борьба добра со злом. *Перевод Е. Мартемьяновой*
- 118 Как я встретился с автором некролога обо мне.
Перевод П. Богатырева.
- 122 Моя исповедь. *Перевод Д. Горбова*

ЯРОСЛАВ ГАШЕК
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Обложка художника *Л. Шульгиной*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 727

Сдано в набор 18.01.83. Подписано в печать 4.05.83. Формат 70 × 100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 6,24. Тираж 50 000 экз. Зак. № 54. Цена 75 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Цена 75 коп.



30 апреля 1983 года исполнилось 100 лет со дня рождения ЯРОСЛАВА ГАШЕКА.

Эта дата широко отмечалась во всем мире. Советским людям Гашек дорог не только как автор "Швейка", но и как участник борьбы за победу Советской власти в России, где он прожил пять плодотворных лет (1915 — 1920)

и где в 1918 году вступил в Коммунистическую партию. Чешские издатели выпустили в свет полное собрание сочинений Гашека, состоящее из 19-ти томов, куда включено много нового, обнаруженного в последние годы материала. Настоящий сборник, состоящий в основном из непереволившихся на русский язык работ, расширяет наше представление о многогранном таланте великого чешского писателя.